SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.


- В. Мякотин
  - 
  - Несколько вступительных слов
  - Глава I. Детство и юность
  - Глава II. Бродящие силы
  - Глава III. Мицкевич в тюрьме
  - Глава IV. Добровольный изгнанник
  - Глава V Мистические увлечения
  - Глава VI. Последние годы

# В. Мякотин
# Адам Мицкевич. Его жизнь и литературная деятельность

***Биографический очерк В. Мякотина с портретом Мицкевича гравированным в Лейпциге Геданом***

# Несколько вступительных слов

Жизнь великих творцов литературы имеет обыкновенно сильное влияние на создаваемые ими произведения. Поэтому вполне понять и оценить эти последние возможно только после обстоятельного знакомства с событиями жизни писателя, с теми условиями, среди которых ему приходилось творить и действовать. В этом отношении не составляет исключения и великий польский поэт нашего столетия – Мицкевич. Влияние окружавшей его обстановки и выработавшегося в зависимости от него личного характера Мицкевича резкими чертами отразилось на всей его поэзии, сказываясь даже в наиболее объективных ее созданиях. Но помимо этого чисто художественного интереса биографии Мицкевича, в ней заключается *еще* и другая, не менее, пожалуй, интересная и поучительная сторона. Он не стоял вдали от современного ему общества, как более молодые его товарищи по песне – Словацкий и Красинский. Те фазы развития, через которые проходил Мицкевич, были общи многим его сверстникам и более молодым последователям, а влияние на последних его личности и таланта еще усиливало это сходство. Таким образом, следя за биографией поэта, мы можем наблюдать одновременно и индивидуальные черты его жизни, обусловившие собою развитие таланта, и черты общие с большей частью тогдашнего польского интеллигентного общества, выведшие этот талант на определенную дорогу.

# Глава I. Детство и юность

***Родители Мицкевича. – Доминиканская школа. – Необыкновенная память мальчика. – Первые стихотворные опыты. – Смерть отца. – Вступление армии Наполеона в Польшу и запавший в душу будущего поэта освободительный энтузиазм. – Виленский университет и его профессора. – «Шубравцы» и «филоматы»***

Адам Бернард Мицкевич, как назван он был при крещении, происходил из мелкой, так называемой «засцянковой», шляхты. Семья эта принадлежала к старинному литовскому роду Мицкевичей-Рымвидов, но никогда не отличалась особенной знатностью, а имущественное положение ее в то время, с которого имеются о ней более подробные сведения, то есть со второй половины XVIII века, далеко не принадлежало к числу блестящих. Лишь благодаря счастливой случайности в жизни деда поэта, – женитьбе его на сравнительно зажиточной девушке, – он успел несколько подняться над уровнем своих родственников и дать своему сыну образование, которого сам не получил. Этот сын его, Николай Мицкевич, уже в последние годы независимости Речи Посполитой служил рэентом в Новогрудской Военно-Гражданской Порядковой комиссии, со времени же падения Польши сделался адвокатом. В Новогрудке он и женился, и здесь же родились у него два старших сына, Франциск и – 24 декабря 1798 года (по старому стилю) – Адам, будущий поэт. Через несколько месяцев после рождения Адама мать его вместе с ним и старшим его братом переехала в лежащую недалеко от Новогрудка деревеньку Заосье, которая досталась их семье совместно с некоторыми другими родственниками в наследство и управление которой взял на себя Николай Мицкевич. Жизнь в деревне продолжалась, однако, недолго: уже в 1801 году Николай Мицкевич перевез свою семью обратно в Новогрудок и, передав имение в аренду, занялся по-прежнему исключительно адвокатской практикой. Материальные средства семьи были в это время не особенно хороши, а последовавшее затем увеличение ее еще на три сына, из которых один, Александр, старший по возрасту после Адама, был впоследствии профессором римского права в Харьковском университете, заставило отца еще более усиленно трудиться для обеспечения средств безбедного существования.

В этой-то если не бедной, то, во всяком случае, весьма простой обстановке прожил Адам Мицкевич первые годы своего детства вплоть до поступления в училище в 1807 году. Равным

образом и та умственная сфера, которая окружала его в родительском доме, мало выходила из обыкновенных рамок. Отец его был, правда, человек с некоторым, хотя и не особенно значительным, образованием, любил литературу и даже сам писал стихи, которых, однако, никогда не печатал; мать же ничем не выделялась из ряда обыкновенных женщин среднего шляхетского круга того времени. Отличительною чертою в ее характере, передавшейся и сыну, служила наивная и непосредственная, горячая вера, заставлявшая ее подчас видеть чудесное проявление Божьего могущества в довольно обыденных событиях. Так, случилось раз, что мамка выронила неосторожно Адама из окошка; мать обратилась с мольбою к Остробрамской Божьей Матери и последовавшее спасение ребенка приписала ее заступничеству. Кроме матери, влияние в этом направлении на ребенка мог оказывать еще и один из слуг в доме Мицкевичей, старик Власий, любивший повествовать о различных фантастических приключениях, бывавших будто бы с ним в жизни. Рассказы эти, в которых народные поверья переплетались с личным вымыслом, сильно действовали на воображение малолетнего Адама.

Вне родительской семьи тихая жизнь маленького городка не могла давать ему особенно сильных впечатлений, но, несомненно, на него должна была благотворно действовать живописная природа этой местности. Летом он часто бывал в близлежащих к Новогрудку деревнях у знакомых отца, играл и бегал со своими сверстниками, и красоты природы, пока еще, конечно, бессознательно, западали ему в душу.

Эта простота окружающей обстановки, давая возможность беспрепятственного развития умственных сил, не способствовала, однако, слишком раннему созреванию их, и действительно, по тем сведениям, какие имеются о Мицкевиче за этот период его жизни (если не считать некоторых сообщений, явно дополненных фантазией их авторов), он представляется мальчиком умным, но далеко не обнаруживающим гениальных способностей, слабым здоровьем, тихим и скромным.

Влияние литературных занятий отца сказалось в том, что Адам уже в это время пытался сам писать стихи. Из этих первых опытов ничего не сохранилось, но, насколько можно судить по следующим, вряд ли они принадлежали к числу сколько-нибудь удачных; все, вероятно, сводилось пока только к подражанию отцу.

Мало новых черт сказалось в характере и жизни Адама и за время пребывания его в школе, в которую он поступил осенью 1807 года и из которой вышел, закончив курс, в 1815 году. Школа

эта, как и большинство тогдашних школ в Литве, находилась в ведении монахов, а именно – ордена доминиканцев. Под влиянием тогдашнего ректора Виленского университета, Яна Снядецкого, образованного и энергичного человека, имевшего по своей должности верховный надзор над всеми средними учебными заведениями округа, содержимые монахами училища начинали понемногу изменять прежние рутинные приемы преподавания, внося в свою программу новые требования и приглашая более знающих и опытных учителей из среды людей светских.

**Вильно. Университетский двор, в глубине костел Св. Яна.** ***Литография Филиппа Бенуа по рисунку Байо***.

В то время, однако, когда Адам Мицкевич поступал в училище, эта реформа только начиналась и ни в составе учителей, ни в предметах, ни в способе преподавания не произошло еще особенно ощутимых изменений. Среди тех лиц, у которых учился Мицкевич, не было ни одного, окончившего

университет. Само училище носило название уездного и состояло из шести классов, в которых, сверх предписанных программой предметов – латинско-польской грамматики, арифметики, географии, физики, геометрии, латинского языка, Закона Божия, русского, французского и немецкого языков и рисования, – преподавались еще история, право и логика. Ученье будущего поэта шло не без препятствий.

Природные способности, и в особенности необыкновенная память, дававшая мальчику возможность запомнить раз прослушанное, не говоря уже о прочитанном, сильно облегчали ему усвоение новых сведений, но, с другой стороны, слабое здоровье да, вероятно, и непривычка к школьной дисциплине и усидчивому труду явились помехами в беспрепятственном прохождении курса и произвели то, что в двух из шести классов Мицкевич просидел по два года. В общем ученье шло у него, однако, хорошо и он считался одним из лучших учеников, хотя степени первого достигал редко и недолго удерживался на ней. Уже в это время у мальчика явились другие интересы, не имевшие ничего общего с сухим школьным преподаванием: он пристрастился к чтению, особенно романов, и часто проводил за ними целые вечера, в то время как старший брат его, одновременно с ним поступивший в училище, готовил уроки. Лишь ложась спать, Адам просил обыкновенно брата прочесть ему вслух заданное на другой день, и этого было для него достаточно, чтобы запомнить главное в уроках.

Чтение романов и поэтических произведений сильно действовало на воображение мальчика, так что у него проявлялось стремление воплотить в жизни излюбленные сцены. Не раз он разыгрывал эти сцены с товарищами в окрестностях Новогрудка, представляя из себя то Яна Собеского, то какого-нибудь другого героя. Влияние этого чтения сказалось еще и в другом отношении, побуждая Адама продолжать начатые еще в родительском доме поэтические опыты. Он писал басни, различные мелкие стихотворения, задумывал даже переложить стихами целый роман Флориана «Нума Помпилий», – но от всех этих попыток сохранились лишь ничтожные отрывки, подчас с удачным стихом, но далеко еще не свидетельствующие о сильном таланте.

Между тем за время школьной жизни Адама Мицкевича произошли два события, получившие большое значение в развитии юноши. Первым из них была смерть отца, последовавшая в мае 1812 года и заставившая его с этих пор заботиться о посильной помощи осиротевшей семье. Второе из этих событий имело более общий характер – это было начало

войны 1812 года между Россией и Наполеоном и вступление войск последнего, среди которых находились и польские отряды, в Литву. Обещания Наполеона восстановить Польшу увлекли за ним сердца большинства поляков, и лишь незначительная часть продолжала возлагать свои надежды на императора Александра. Общий энтузиазм к французам проник и в Новогрудок и выразился с полною силою при проходе через него нескольких корпусов армии Наполеона под начальством Иеронима Бонапарте, короля Вестфальского. Дом Мицкевичей был назначен под королевскую квартиру; хозяева, конечно, должны были удалиться, но 14-летний Адам, спрятавшись за забором, ожидал прибытия короля и успел его увидеть. Эта блестящая картина французского войска, вместе с восторженными рассказами солдат о Наполеоне как о каком-то полубоге, и с всеобщим ожиданием земляков возвращения независимости родной страны от этого чудодейственного вождя, навеки запечатлелась в душе мальчика и, способствуя раннему пробуждению в нем патриотического чувства, в то же время положила основание того культа Наполеона, который он исповедовал впоследствии. Много лет спустя Мицкевич поэтически воспроизвел свои тогдашние впечатления в «Пане Тадеуше»:

Год приснопамятный, великий и единый,
Останешься в Литве священной ты годиной!
Ты, урожайная красавица-весна,
Век будешь сниться нам, обильна и красна
Густыми злаками и воинов одеждой,
Громами славных битв и ясною надеждой.
Досель, переносясь в минувшие года,
Тебя, как сладкий сон, я вижу иногда
И, скорбию повит, лью слезы и тоскую:
Увы! я в жизни знал одну весну такую!..

В 1815 году Адам Мицкевич окончил курс в училище доминиканцев. В это время один из дальних родственников их семьи, ксёндз Иосиф Мицкевич, был деканом физико-математического факультета Виленского университета. Он предложил матери Адама поместить его в университет, обещая, со своей стороны, устроить его там на казенный счет. При Виленском университете существовали тогда стипендии, предназначавшиеся для студентов, готовивших себя в учителя, и определявшиеся по конкурсному экзамену. Такую стипендию и имел в виду декан для своего родственника. Действительно, Мицкевич успешно выдержал экзамен и получил стипендию.

Вторым соискателем ее явился молодой человек, который также поступал в этом году в университет и позднее стал одним из самых близких друзей Мицкевича, – Фома Зан. На экзамене они впервые познакомились, и неудача Зана не помешала их сближению, становившемуся чем дальше, тем теснее. Поступая в университет, молодой Мицкевич еще не определил окончательно, какие отрасли наук привлекают его к себе. Он избрал было, – может быть, под влиянием родственников, – физико-математический факультет, но пробыл на нем недолго, не более полугода, и перешел на историко-филологический, более соответствовавший его наклонностям.

Это время было как раз периодом наибольшего процветания Виленского университета, успевшего под управлением Снядецкого собрать вокруг себя лучшие местные научные силы. Сам Снядецкий, правда, уже более не занимал поста ректора, но влияние его управления было сильно в профессорской среде. Подобно ему, большинство наиболее уважаемых профессоров были поклонниками философии XVIII века, воззрения которой они проводили в жизнь и с кафедры, и частью в литературе. Начинавшаяся уже в обществе реакция мало еще успела проникнуть за университетские стены, и лишь немногие, да и то наименее пользовавшиеся уважением, профессора, были ее представителями.

Из профессоров-филологов, которых начал слушать Мицкевич со второго полугодия своего пребывания в университете, наиболее выдающеюся фигурой был Готфрид Эрнест Гроддек, соединявший с глубоким знанием своего предмета – греческого и латинского языков и литератур – горячую любовь к нему, невольно, как всегда, передававшуюся слушателям и заставлявшую их забывать все внешние недостатки его изложения. Сторонник новой еще тогда в науке теории Вольфа о происхождении «Илиады», он передавал студентам классическую филологию в освещении взглядов, немецкого ученого и сообщал им немало ценных сведений, приохочивая к занятиям древней литературой. По своим убеждениям он был либерал и носил даже звание мастера франкмасонской ложи в Вильне.

Кроме Гроддека, были на факультете и другие талантливые профессора, например, Боровский, читавший польскую литературу и руководивший письменными упражнениями студентов. Ему Мицкевич, по собственному признанию, был обязан чистотою и строгостью своего стиля.

Но на голову выше всех других, как по глубоким научным знаниям и уменью передавать их, так и по любви к нему студентов, стоял молодой лектор всеобщей истории Иоахим

Лелевель. Как историк он выделялся не только своими богатыми и разнообразными познаниями, соединявшимися у него с горячею, доходившею до энтузиазма любовью к занятиям своим предметом, но и теми новыми взглядами, которые он вносил в его изложение. Высоко ценя национальное начало, молодой еще тогда ученый видел главную задачу всякого народа в строгом выполнении и осуществлении в жизни издревле заложенных в него самостоятельных принципов и с этой точки зрения подвергал строгой критике всякое заимствование извне, не усматривая и во влиянии сохранявшей еще тогда свое значение французской философии XVIII века особой пользы для Польши, в которой она будто бы только способствовала сужению национальных идеалов развития. Такое обращение к народности, находившееся в резкой противоположности с общим направлением профессоров Виленского университета, было, однако, в духе времени, когда, вслед за увлечением преобразовательными теориями, подчас слишком отвлеченными, в обществе начинался поворот в другую сторону, к своему народному, – в свою очередь, не лишенный крайностей. Этих крайностей не был чужд и Лелевель, – но молодежь, посещавшая его лекции, конечно, не могла отнестись к ним с достаточной критикой. Как бы то ни было, эта талантливость изложения и новизна взглядов молодого историка побуждали студентов посещать его курс усерднее всех других и оказывали сильное и во многом благотворное влияние на впечатлительные юные умы.

Таковы были те главные научные силы и те влияния, с которыми столкнулся Мицкевич уже в первое время своего пребывания в университете. Конечно, он, получивший первоначальное воспитание в маленьком городке, в училище, не особенно высоком по своему уровню, не мог сразу освоиться с этими влияниями, и сперва лишь пассивно воспринимал представлявшиеся впечатления. К тому же ему предстояло позаботиться о восполнении некоторых пробелов своего образования и, главным образом, об изучении греческого языка, который не преподавался в Новогрудском училище, но был необходим в университете. Тем более времени должны были отнимать у Мицкевича эти занятия, что он, в качестве кандидата на учительское звание, получавшего казенную стипендию, был обязан каждое полугодие сдавать особый экзамен.

Понятно поэтому, что в течение первых двух лет своего университетского курса Мицкевич ничем еще не заявил себя в студенческой среде. В этой последней к тому же господствовало полное разъединение: студенты жили, мало знакомясь и почти не сообщаясь друг с другом, и немногочисленные существовавшие у

них кружки составлялись, главным образом, из окончивших одно и то же среднее учебное заведение. А между тем пример старшего поколения указывал молодежи все преимущества соединения лиц, стремящихся к достижению общих целей, в одно целое. Не говоря уже о существовании в Вильне масонских лож, в 1818 году здесь адъюнктом, секретарем и библиотекарем Виленского университета Казимиром Контримом было основано общество «шубравцев» (проказников), поставившее своей задачей исправление общественных пороков и распространение просвещения. Это общество вскоре сгруппировало вокруг себя наиболее образованных, просвещенных и либеральных людей тогдашней Вильны, в том числе и некоторых профессоров университета, и с помощью издававшегося им сатирического журнала «Ведомости с мостовой» (Wiadomosci Brukowe) приобрело значительный успех и немалое влияние на общественное мнение. Заседания его были обставлены, согласно тогдашней моде, несколько торжественным церемониалом: в обществе существовали свои сановники, президент, оратор, стражник, постукиванием лопаты призывавший к порядку несвоевременно заговорившего члена, секретарь и редактор; принятие новых членов сопровождалось целым рядом формальностей. Эти подробности, равно как и литературные занятия, сближают польское общество шубравцев с нашим «Арзамасом».

Весьма вероятно, что именно образование и успех этого общества навеяли некоторым из студентов мысль о пользе подобной же организации в их собственной среде. Через несколько месяцев после составления общества шубравцев, в начале третьего учебного года Мицкевича в университете, им и еще пятью товарищами его был основан студенческий «Кружок филоматов». Название это не было новостью, так как уже в 1808 году в Вильне существовало закрывшееся затем общество под этим названием, сама же мысль возобновления этой организации принадлежала тому Фоме Зану, с которым мы уже познакомились выше. Он убедил нескольких товарищей, из которых, кроме Мицкевича, особенно выделялись Ян Чечот, впоследствии известный собиратель белорусских песен, и Иосиф Ежовский, соединиться для совместных занятий. Мицкевич и здесь вначале не проявлял серьезной инициативы, но вскоре сделался одним из самых деятельных членов кружка филоматов. Целью этого кружка было умственное и нравственное развитие, средствами же для достижения этой цели должны были служить тесное общение друг с другом его членов и совместные занятия на поприще литературы. На каждое заседание члены по очереди обязывались

приносить свои произведения, которые здесь прочитывались и обсуждались. Политические вопросы совсем не входили в программу кружка, и это было тем естественнее, что и все тогдашнее польское общество, вполне возлагая надежду на императора Александра, чуждалось политической пропаганды. Однако филоматы не заявили о существовании своего кружка ректору университета Малевскому, как этого требовали изданные последним правила. Боялись ли они, что существование общества не будет дозволено, или же думали, что их слишком мало, чтобы можно было считать его за таковое, – как бы то ни было, кружок этот остался негласным. Вместе с тем, первоначальные основатели его, опасаясь за поставленные ими высокие цели, не желали слишком быстрого расширения своего общества и принимали в него только таких студентов, в которых они были вполне уверены, так что в течение двух лет число их увеличилось только до 14. Ввиду своих скромных размеров общество филоматов не могло, конечно, влиять на всю массу студентов, – но зато тем с большею силою сказывалось благотворное влияние организации внутри ее самой. Чтение и обсуждение литературных произведений располагали участников собраний заботиться о выработке ясности и чистоты своего языка, постоянный обмен мыслями пробуждал в них критическое чувство, общение на интеллектуальной почве влекло за собою сильный умственный и нравственный подъем, – и из этого студенческого общества, как изо всех почти ему подобных, вышло немало людей, приобретших себе впоследствии известность в качестве научных и общественных деятелей. Занятия литературой приобретали для членов кружка тем больший интерес, что как раз около этого времени стали проникать в польскую журналистику произведения немецких романтиков, вызвавшие сильное негодование поклонников классицизма, но привлекавшие к себе молодежь своею смелостью, новизной, свежим, непосредственным чувством и, наконец, возвращением к истинной, как тогда казалось, национальности. Мы видели, что для этого последнего почва среди виленских студентов была несколько подготовлена уже лекциями Лелевеля. Мицкевич в течение этого года, не ограничиваясь участием в заседаниях филоматов, писал еще сочинение на тему, данную университетом для конкурса, но оно не было удостоено награды.

# Глава II. Бродящие силы

***Мицкевич влюбляется в Марию Верещак. – План дидактической поэмы. – Влияние на Мицкевича баллады Жуковского «Людмила». – Общество «филаретов». – Учительство в Ковно. – «Лучистые». – Смерть матери Мицкевича и свадьба «Марыли». – Столкновение с Яном Снядецким. – Сердечные страдания. – «Дзяды» и «Гражина». – Арест Мицкевича.***

Мицкевичу оставался один год до окончания курса в университете, когда летом 1818 года он на вакациях в деревне познакомился с девушкой, впервые приковавшей к себе его сердце и надолго ставшей предметом его песен. Это была 18-летняя Мария Верещак, красивая блондинка, дочь богатой вдовы маршалка Верещак, жившей неподалеку от Заосья. В то время, когда с нею познакомился Мицкевич, она была уже невестою молодого и зажиточного помещика из той же местности, Путткамера. Это не помешало молодому студенту влюбиться в нее чуть не с первого взгляда, не помешало и ей если не поощрять, то и не отвергать его ухаживания, хотя сердце ее при этом оставалось совершенно спокойным. Дочь богатых родителей, получившая хорошее по своему времени воспитание, начитанная в сентиментальной и идиллической поэзии, она не прочь была поиграть в любовь, не видя в этом никакой для себя опасности. Между тем именно эта сентиментальность и придавала ей в глазах Мицкевича особое очарование.

Под впечатлением этого нового чувства вернулся он осенью в Вильну, и, несомненно, чувство это оказало свою долю влияния на возобновление им начатой еще в Новогрудке поэтической деятельности. Впрочем, к этому времени все почти его ближайшие приятели-филоматы писали стихи, а некоторые даже и печатали их. Общему увлечению не остался чужд и Мицкевич.

Он написал в том же году два стихотворения: «Песнь филоматов» и «Городская зима», из которых второе было напечатано в «Tygodniku Wilenskim». В стихотворениях этих поэт еще строго придерживается классической манеры. Влияние классицизма сказалось и в замысле большой дидактической поэмы «Картофель», которая должна была состоять из двух частей: героической, в которой изображалось бы открытие и покорение Америки, и собственно дидактической, имевшей предметом исчисления выгод, происшедших для человечества от открытия картофеля.

Но в то время как Мицкевич задумывал подобные планы, в

кружке филоматов продолжались занятия над немецкой романтической литературой, заставившие поэта свернуть на другой путь. Окончательный толчок в этом направлении был дан знакомством с балладой Жуковского «Людмила», представляющей переделку «Леноры» Бюргера. Однажды сын профессора русского языка Чернявского с восторгом прочитал Мицкевичу и некоторым из его товарищей «Людмилу». Энтузиазм передался его слушателям до такой степени, что Зан, а затем и Мицкевич, в свою очередь, написали баллады в подражание «Леноре». С этих пор поворот в направлении поэтического творчества Мицкевича был решен.

Между тем близилось уже время окончания университетского курса. Но прежде чем Мицкевич и его товарищи оставили университет, они решились упрочить связь между собою и остававшимся еще на студенческих скамьях более молодым поколением, основав новое общество в среде университетской молодежи. Общество это, первая мысль об учреждении которого опять-таки принадлежала Зану, назвали «обществом филаретов» (друзей добродетели); основная цель его деятельности заключалась в том, чтобы подготовить своих членов к вступлению в кружок филоматов. Понятно поэтому, что сходство обеих организаций было весьма значительно – взаимная помощь в жизни и совместные научные занятия стояли на первом плане у филаретов, как и у филоматов, на собраниях филаретов также читались рефераты, по большей части литературного содержания. В это время чисто литературные интересы вообще играли первенствующую роль в среде виленских студентов. Общественная жизнь не была настолько развита и жива, чтобы увлечь молодежь, вопросы политические еще не выступили на сцену, – а между тем в литературной сфере начинался перелом, уже возникала и приковывала к себе внимание молодых умов борьба двух направлений. В будущем эта борьба исключительно, казалось бы, литературных направлений оказала весьма серьезное влияние и на решение вопросов совсем иного порядка, – но в ту эпоху мало кто предвидел эти далекие последствия, и поэзия Шиллера и Гёте привлекала к себе польскую молодежь не своим общественным значением, а новизной и свежестью своих художественных идеалов.

При таком настроении Мицкевич, поэтическое дарование которого приобрело уже почетную известность среди товарищей, сразу занял выдающееся положение в обществе филаретов и сделался излюбленным представителем его стремлений. Сами собрания филаретов происходили по отдельным кружкам, соответствовавшим специальности студентов по факультетам, но

кружки эти могли сообщаться один с другим через посредство выборных делегатов или отдельных своих членов, иногда же соединялись все вместе в общих загородных прогулках, на которых пелись песни, специально для этого сочинявшиеся Мицкевичем, Заном и другими. Это общество сильно повлияло на распространение новых веяний в студенческой среде; но тот из его членов, кому вскоре суждено было сделаться самым крупным представителем нового направления в польской литературе и вместе с тем, по крайней мере временно, самым ревностным борцом за него, теперь должен был оставить товарищеский круг. Весною 1819 года Мицкевич сдал в университете экзамен на магистра и затем в качестве казенного стипендиата должен был ожидать назначения на учительскую должность. Оно не заставило себя ждать, и после лета, проведенного частью дома, частью у Верещаков, Мицкевич получил от совета университета приказание отправиться в Ковно и занять в тамошней гимназии место преподавателя литературы.

К этому времени, когда молодой поэт покинул университетскую скамью и должен был начинать самостоятельную жизнь, характер его и взгляды уже в значительной степени установились, несмотря на молодость (ему был тогда 21 год). От природы не расположенный к излишнему обнаружению своих чувств, но в то же время одаренный сильною впечатлительностью, он с годами еще более развил в себе способность сдерживать свои порывы. Но эта сдержанность, это отсутствие выхода для чувства лишь увеличивали его силу и пылкость. Бывали минуты, когда привычка к самообладанию не помогала, когда чувство, несмотря на сопротивление, пробивалось наружу с тем большею силой, чем дольше оно скрывалось, и тогда, смотря по поводу, вызвавшему эту вспышку, поэт чувствовал себя наверху блаженства, впадая во вдохновенный экстаз, – или же испытывал глубокое отчаяние. Такому развитию чувства в значительной мере содействовали и те немецкие романтические произведения, которыми зачитывался Мицкевич в это время и где чувство в своих разнообразных проявлениях стояло на первом плане, заслоняя собою, если не подавляя, рассудочную деятельность. Сам характер поэта, таким образом, соответствовал тем впечатлениям, какие он извлекал из знакомства с романтической литературой. Если же мы обратимся к другим сторонам влияния последней, то увидим, что и здесь почва для воздействия ее на Мицкевича в значительной степени была уже подготовлена. Религиозность, составлявшая такой существенный элемент в поэзии первых романтиков, была развита в нем уже с раннего детства, и развита крайне сильно.

Это заставляло его несколько враждебно относиться к философии XVIII века, отрицавшей возможность какого бы то ни было сверхъестественного вмешательства в человеческую жизнь.

Был, сверх того, и еще один пункт, на котором взгляды Мицкевича расходились с учением французских философов, приближаясь к проповеди романтиков, – и этим пунктом было отношение к народности. Воззрения Лелевеля крепко привились в душе молодого энтузиаста, и он жадно ухватился за мысль, что осуществление народных идеалов, издавна заложенных в национальности и представляющих собою высшее совершенство, должно служить задачей не только жизни, но и поэзии. Это требование народности в литературе было совершенно почти чуждо для польского общества того времени, воспитанного на французских образцах. Лишь в наиболее молодой его части высказывались порою подобные пожелания, да и то робко и неуверенно. Но, кладя в основание поэзии идею народности, Мицкевич не ограничивался этим и, опять-таки в строгом согласии с духом, господствовавшим тогда среди наиболее развитой части университетской молодежи, и в особенности среди филоматов, требовал от поэтических произведений непосредственного нравственного влияния на жизнь. Уже в этот ранний период его жизни поэзия представлялась ему вещью почти столь же священною, как религия, сестрою последней. Правда, этот взгляд о необходимости прямого воздействия поэзии на жизнь не вполне еще развился и выработался, – но этого и не могло быть, пока сам поэт вращался в тесном кругу чисто личных отношений.

Переехав в Ковно, Мицкевич в первое время ревностно отдался исполнению своих учительских обязанностей, поглощавших у него немало времени и труда. Так прошел первый год его учительства, в течение которого он продолжал, однако, постоянно поддерживать отношения с кружком виленских приятелей, временами приезжая и сам в Вильну. Тем временем влияние филаретов в студенческой среде все росло, и руководители этого общества решились основать новое, которое было бы уже совершенно явным. В мае 1820 года ректор университета дал свое согласие на учреждение «Общества полезного удовольствия» и утвердил его устав, согласно которому главными целями общество ставило нравственное и умственное усовершенствование его членов. Вскоре значительное количество студентов записалось в это общество, получившее среди них название «общество лучистых» (promienistych). Большее количество привлеченных молодых сил дало возможность более расширить и круг действий: в среде «лучистых» старшие члены

читали желающим род лекций по истории литературы, при этом, в силу ясно уже обозначившегося направления университетской молодежи, главное внимание обращалось не на французскую литературу, псевдоклассические произведения которой выставлялись большинством профессоров как образцовые, а на новых немецких и английских авторов. Членами общества часто устраивались совместные загородные прогулки, или, как они назывались у польских студентов, «маювки». Наряду с этим явным обществом продолжала существовать, однако по-прежнему негласно, и организация филаретов и филоматов, которые в сущности и были душою этого объединения студентов. В собраниях «лучистых» принимал нередко участие и Мицкевич, когда позволяла ему это служба.

Не только в среде близких его товарищей, но между молодыми студентами, успевшими познакомиться с остававшимися еще в рукописи его новыми произведениями, все более назревало убеждение, что из него должен выработаться великий поэт. И действительно, пребывание в Ковно было одним из самых плодовитых по количеству поэтических произведений периодов в жизни Мицкевича: баллады он писал одну за другой. Но уже второй год этого пребывания, не менее первого богатый в поэтическом отношении, принес ему в действительной жизни ряд тяжелых огорчений и утрат. Начались они с того, что под конец лета 1820 года Мицкевич сильно заболел в Вильне и не мог отправиться вовремя в Ковно. Это навлекло на него строгий, хотя и незаслуженный выговор правления университета с угрозою доставить его в Ковно при помощи полиции и требованием объяснения неявки в срок. Напрасно оправдывался Мицкевич своею болезнью: это не избавило его от нового выговора, при этом, однако, правление, как бы из снисхождения к его молодости и неопытности, отменило наложенное было на него наказание в виде прекращения жалованья.

Такое отношение к нему главного начальства глубоко оскорбило впечатлительного поэта, и память об этом оскорблении надолго сохранилась у него.

Не успело еще изгладиться первое впечатление этого происшествия, как Мицкевич получил известие о смерти своей матери, последовавшей 9 октября 1820 года. Он не мог даже присутствовать на похоронах матери, горячо им любимой. В начале следующего 1821 года новый удар постиг Мицкевича. Девушка, которой он отдал сердце со всем пылом первой любви, Мария Верещак, вышла за Путткамера. Мицкевич знал, что последний считается ее женихом, но, тем не менее, не переставал питать неопределенные надежды. Теперь им сразу положен был

конец. Поэт терзался, мучения ревности и любви не давали ему покоя, хотя в то же время он должен был сознаться, что любимая девушка ни разу не давала ему повода думать о взаимности. Не в чем было ему упрекать и Путткамера. Последний, человек глубоко честный и правдивый, и после свадьбы не мешал жене переписываться с поэтом. Мария, или, как называл ее Мицкевич, Марыля, писала ему, прося забыть ее и успокоиться, но советы эти оставались бесплодными. Очутившись в положении Гёте между Лоттой и Кестнером, Мицкевич в безысходном отчаянии доходил даже до того, что помышлял, подобно Вертеру, кончить жизнь самоубийством. Этого, однако, не случилось: глубокая вера удержала его от решительного шага, но зато тяжелое, грустное настроение надолго охватило его, что отразилось и в его поэтических произведениях.

Учительские обязанности, отвлекавшие его внимание от поэтического творчества, в этот период грустного настроения стали ему особенно тягостны, и он жаловался на крепость «жмудских лбов», обучать которые ему приходится. Тяготясь своею должностью, он стал хлопотать о годовом отпуске, ссылаясь на свою болезнь. В сентябре 1821 года ему был действительно дан такой отпуск, с сохранением жалованья, и Мицкевич перебрался на житье в Вильну, где поселился у Чечота. Самого крупного из основанных их кружком обществ – «лучистых» – он уже не застал. Одна особенно шумная и многолюдная «маювка» их в Духов день 1821 года, в которой участвовал и Мицкевич, нарочно для этого приезжавший тогда из Ковно, обратила на них внимание виленского военного губернатора Римского-Корсакова. Введенный в заблуждение названием общества, он заподозрил в нем связь с иллюминатами, и, согласно с его желанием, ректор запретил дальнейшее существование «лучистых». Запрещение это не помешало продолжению собраний филаретов и филоматов, но побудило их держать свои сходки в еще большей тайне.

В кругу товарищей и новых приобретенных в Вильне знакомых, преимущественно из профессорских семей, быстро проходило время для Мицкевича. Тогда-то впервые познакомился он с семейством профессора Бэкю, отчима Юлия Словацкого, и мать последнего давала ему читать первые произведения своего сына. Как любил впоследствии вспоминать Словацкий, Мицкевич уже тогда, на основании этих юношеских опытов, предсказал ему великую поэтическую будущность. Здесь же, в Вильне, впервые после замужества Марыли встретился поэт с нею и, хотя мучения неудовлетворенной любви еще не улеглись в его страстной душе, но благодаря жизни в обществе близких людей не сказывались

так сильно, как в ковенском одиночестве.

Вместе с тем, жизнь в Вильне далеко не была для него и праздной. Он ревностно продолжал свои литературные занятия и особенно много времени посвящал знакомству с английской поэзией. После чтения Шекспира, через которого он, по его выражению, «протискивался со словарем в руках, как евангельский богач сквозь игольное ушко», он обратился к Байрону, – и мрачная, но огненная и высокая, исполненная страстных порывов поэзия «властелина умов» тогдашней Европы, так сильно соответствовавшая его собственному печальному настроению, увлекла его: он принялся за переводы отрывков «Гяура», а позднее и «Чайльд-Гарольда». Но этим не ограничивались его занятия: в то же время он готовил издание первого томика своих стихотворений, составленного из баллад, частью уже напечатанных ранее в журналах, но в большинстве впервые появившихся в печати, и дидактической поэмы «Шашки» (Warcoby). В конце мая 1822 года томик этот вышел в свет, снабженный предисловием, в котором Мицкевич смело указывал все недостатки французской псевдоклассической поэзии, ее ходульность, безжизненность и условность, ее оторванность от родной почвы и отсутствие в ней истинного вдохновения.

Эти упреки, выраженные резко и без оговорок, могли действительно назваться смелыми ввиду господствовавшего в тогдашней польской литературе ложноклассического направления. Все корифеи критики и литературы почувствовали себя глубоко оскорбленными дерзостью молодого поэта и не замедлили дать ему почувствовать это. Несмотря на довольно быструю распродажу издания, в печати не появилось о нем ни одного отзыва, – частные же отзывы классиков о Мицкевиче были преисполнены негодования.

Случилось, что однажды, когда Мицкевич был у Бэкю, туда же пришел товарищ последнего по кафедре, Ян Снядецкий, бывший ректор университета, ярый классик по воспитанию и один из самых ревностных защитников классического направления в литературе и поклонников философии XVIII века. Воспользовавшись случаем выместить свое раздражение, он сделал вид, будто не узнал Мицкевича, и в разговоре стал беспощадно осмеивать его произведения, его проповедь романтизма, веру в духов и пристрастие к чудесному. Раздраженный старик не щадил и самой личности поэта. Бэкю, сам принадлежавший по направлению к классикам, не только не удерживал его, но и вторил его насмешкам. Природная застенчивость и служебное положение, ставившее его в зависимость от совета университета, не позволили Мицкевичу

возражать. Ему пришлось молча вынести это глумление, но оно поселило в нем ожесточение против отжившего поколения, не уважающего стремлений молодежи, и он со временем жестоко отомстил Бэкю за свое унижение тем оружием, которое всегда было к его услугам, – своим пером.

Между тем, по мере того как близился срок окончания отпуска, Мицкевич чувствовал все меньше охоты возвращаться в Ковно к опостылевшей ему преподавательской деятельности и мучительному одиночеству. Он решился тогда просить у попечителя Виленского учебного округа, князя Чарторыского, командировки за границу с целью ознакомления с теорией эстетики, чтобы получить затем возможность составить учебник ее для средних учебных заведений. Просьба эта, однако, не имела успеха, и с началом нового учебного года Мицкевичу пришлось возвратиться на свою должность в Ковно. Вернулся он туда уже магистром, очевидно получив эту степень в университете за какую-то работу, подробных сведений о которой, однако, не сохранилось. Уроки мало занимали его, а разлука с друзьями и невозможность даже видеть любимую женщину угнетающе действовали на его настроение. Доведенный до крайней степени нервного расстройства, поэт целыми днями ничего не ел и поддерживал свои силы лишь неумеренным употреблением кофе и табаку, которое, конечно, еще более ослабляло его нервную систему.

Сам Мицкевич в письме к одному товарищу так обрисовывал тогда свои занятия и настроение: «Я привыкаю к школе, так как мало читаю, мало пишу, много думаю и страдаю, и поэтому нуждаюсь в ослином труде. По вечерам я играю в бостон на деньги, никаких обществ не люблю, музыку слушаю редко, игра же в карты без денег не доставляет мне интереса. Читаю только Байрона; книги, написанные в другом духе, бросаю, так как не люблю лжи; описание счастья семейной жизни возмущает меня так же, как вид супружеств; дети – это моя единственная антипатия».

Такое сильное разочарование поселила в душе поэта его неудачная любовь, прошедшая, по выражению Зана, по его душе, как пожар по лесу. Что Мицкевич при этом не накидывал на себя модного плаща разочарования, а страдал действительно сильно, может показать хотя бы следующий случай. Весною 1823 года его посетил в Ковно один из младших товарищей по университету, в это время уже начинающий романтический поэт, Одынец. Мицкевич стал было читать ему свой перевод прощания Чайльд-Гарольда, но, дойдя до слов: «Теперь, слоняясь по широкому свету, я веду скитальческую жизнь: зачем же мне плакать, по ком

и о ком, когда никто не плачет обо мне», – внезапно побледнел и упал в обморок. Сердечные страдания свои он старался заглушить усиленными физическими упражнениями, для чего совершал далекие прогулки в окрестностях Ковно, и литературными занятиями.

**Адам Мицкевич.** ***Худ. Валентин Ванькович. 1823.***

К этому времени относится создание второй и четвертой частей тетралогии «Дзяды», в которых он воспроизвел историю своей собственной любви, а также эпической поэмы «Гражина» и еще нескольких мелких стихотворений, среди которых самое видное место занимает «Ода к юности». «Дзяды» и «Гражина» составили содержание второго томика стихотворений, изданного в Вильне весною 1823 года. Расходы на издание доставила подписка, а хлопоты по нему принял на себя, как и при издании первого томика, живший в Вильне Чечот. Первоначально и этот томик не вызвал никаких критических отзывов в журналах, но публика уже успела оценить молодого поэта и число подписчиков значительно увеличилось в сравнении с первым томом. Прошло несколько месяцев, и на столбцах варшавского журнала «Astrea» появилась первая критическая статья о Мицкевиче, автор которой, Франциск Гжимала, с сочувствием отзывался о его произведениях и признавал в нем истинный талант.

Литературный успех не изменил душевного настроения поэта, но вскоре счастье, казалось, улыбнулось ему с другой

стороны. Друзья, опасаясь за его здоровье, уже несколько времени помышляли о том, чтобы отправить его за границу, причем средства на такое путешествие, по их расчетам, частью были бы доставлены распродажей его произведений, частью же могли быть собраны среди наиболее близких товарищей. Сам Мицкевич, отчаявшись в возможности получить казенную командировку, соглашался на этот проект и подал просьбу попечителю об увольнении его ввиду расстроенного здоровья от исполнения преподавательских обязанностей. Весною того же 1823 года он действительно получил такое увольнение сроком на два года, и его давнишняя мечта была близка к осуществлению. Вышло, однако, не так, и внезапный удар судьбы разрушил все ожидания и планы поэта, направив его жизнь по новому пути и внеся новый элемент в его деятельность. Хлопоты по получению заграничного паспорта затянулись, в них прошло все лето, а в конце его Мицкевич получил известие о раскрытии общества филаретов и аресте Чечота. Вскоре был арестован и он сам.

# Глава III. Мицкевич в тюрьме

***Его импровизации. – Отправка в Одессу. – Любовь к Каролине Собанской. – «Сонеты». – Переезд в Москву. – Сближение Мицкевича с русскими писателями и дружба с Пушкиным. – «Конрад Валленрод». – В Петербурге. – Мицкевич вступает в открытую борьбу со старой школой польских критиков. – Духовный рост Мицкевича за пятилетний период его жизни в Москве и Петербурге***.

Время, непосредственно предшествовавшее аресту Мицкевича и его друзей, было началом периода реакции в России. Правительство Александра I, в начале царствования последнего относившееся доброжелательно ко всяким либеральным начинаниям и охотно допускавшее существование в среде интеллигенции различных кружков и обществ, в начале 20-х годов изменило свои взгляды. Революционное движение в некоторых странах Западной Европы заставило императора, подпавшего под влияние Меттерниха, опасаться возможности того же и в России, и место прежней либеральной политики заступила иная, направленная к стеснению проявлений общественного мнения. Прежних советников государя заменили новые люди, частью искренне державшиеся крайне консервативного направления, частью желавшие воспользоваться переменою правительственной системы для скорейшего личного возвышения. При этой разгоравшейся реакции особенные опасения сторонников ее возбуждали общества молодежи. Студенческое движение в Германии, казалось, подтверждало справедливость этих опасений и оправдывало необходимость строгих мер. Это недоверие к обществам вскоре выразилось и в практических мерах: общество шубравцев было закрыто, та же участь постигла и масонские ложи. Деятельность Виленского университета подвергалась строгому контролю со стороны императорского комиссара в Варшаве Новосильцева.

При таких-то обстоятельствах последовало случайное раскрытие остававшейся до сих пор в тайне организации филоматов и филаретов. у одного из членов их, некоего Янковского, произведен был обыск по другому поводу, но при этом найдены были стихи политического содержания. Опасаясь последствий этой находки, Янковский вздумал объяснить происхождение найденных стихов посторонним влиянием и раскрыл существование общества, членом которого он состоял. Немедленно были арестованы по его указаниям и все другие филареты и доставлены в Вильну, где их содержали в

обращенных в тюрьмы монастырях, пока продолжалось следствие. Заключение это было, впрочем, не так уже строго и, по крайней мере, в монастыре базилиатов, где содержался Мицкевич и многие из его товарищей, узники могли при помощи подкупа стражи сходиться и беседовать между собой по вечерам. Беседы эти, конечно, в значительной степени изменили уже свой характер: хотя литературные интересы по-прежнему продолжали волновать их участников, хотя последние и на этих собраниях, происходивших под арестом, сообщали друг другу свои новые произведения, но ко всему этому под влиянием событий прибавился новый элемент – политический.

Лично для Мицкевича это заключение имело даже некоторую долю благотворного влияния, оторвав его от эгоистических страданий сентиментальной любви, родившейся, несмотря на всю ее силу, более под впечатлением прочитанных книг, чем живой действительности. К тому же времени относится и начало импровизаций Мицкевича, заслуживших ему впоследствии такую славу. Страстная натура поэта и то напряженное состояние духа, в котором он находился под арестом, достаточно объясняют возникновение этого нового рода его поэтического творчества, и действительно первые импровизации его вызывались непосредственно положением его и его товарищей и изображали последнее. В феврале 1824 года Мицкевич и большинство других филаретов были выпущены из монастыря, но приговор по их делу не был еще подписан государем. В силу этого приговора Зан, во время следствия принявший на себя всю вину составления тайного общества, Чечот и еще один филомат, как наиболее виновные, подвергались заключению в крепости и затем высылке в русские губернии, 18 же других их товарищей должны были отправиться во внутренние губернии России для службы по министерству народного просвещения. В число последних попал и Мицкевич. В октябре он выехал в Петербург, с тем чтобы уже оттуда отправиться на место своей будущей службы, остававшееся пока ему совершенно неизвестным. Туда же должны были ехать и остальные его товарищи.

По прибытии невольных путников в столицу они нашли в ней, однако, более ласковый прием, чем ожидали. Министр народного просвещения Шишков предоставил им самим выбрать себе по желанию место службы. Мицкевич вместе с Ежовским и другим товарищем, Малевским, сыном бывшего виленского ректора, избрали Одессу, причем двое первых заявили желание преподавать в Ришельевском лицее. В начале 1825 года они действительно отправились туда, получив от министерства в пособие на дорогу по 300 рублей ассигнациями. В Одессе, однако,

не пришлось остаться никому из них, так как вскоре по приезде их в этот город получен был приказ, которым им воспрещалось пребывание во всех южных губерниях и предоставлялось избрать какое-нибудь другое место жительства. Мицкевич и Малевский выбрали на этот раз Москву, но отправление их туда затянулось, а тем временем жизнь в Одессе оказывала свое влияние на Мицкевича.

Тамошнее общество приняло приобретавшего уже известность поэта весьма радушно, а польское тем более, так как в его глазах он являлся страдальцем за идею. Нужно прибавить, впрочем, что в ту эпоху национальный вопрос еще не обострился настолько, как впоследствии, и русские интеллигентные кружки относились с участием к судьбе, постигшей Мицкевича. Последний попал в Одессе в круг высшего светского общества, до сих пор остававшийся ему совершенно незнакомым, познакомился с его жизнью и на некоторое время был даже увлечен ее блеском. Здесь же впервые испытал он взаимную любовь, горячую и страстную, не похожую на его сентиментальные отношения к Марыле, влюбившись в Каролину Собанскую, урожденную Ржевускую. В сообществе ее и ее брата, впоследствии известного в польской литературе Генриха Ржевуского, он совершил поездку в Крым, пользуясь свободным временем.

**На скале Аю-Даг. Портрет Адама Мицкевича.** ***Худ. Валентин Ванькович. 1828***.

Под влиянием нового, неизвестного еще чувства страсти и чудных красот природы, так не похожих на все виденное им до того времени, возник тогда целый ряд перлов лирической поэзии Мицкевича, известных под названием «Сонеты». Чувство поэта к Собанской продолжалось, однако, недолго; выказанная им ревность повела к разрыву, и, получив в ноябре 1825 года позволение приехать в Москву, Мицкевич охотно пустился в путь.

В Москве Мицкевич поселился вместе с Малевским и первое время вращался исключительно в немногочисленном тогда в этой столице польском кружке, среди которого он встретил и некоторых из своих бывших товарищей. Но начатые им хлопоты по изданию сонетов сблизили его с профессорами Московского университета, которые исправляли тогда и обязанности цензоров, а через них – и вообще с кругом московских литераторов. Каченовский, принявший на себя цензуру произведений польского поэта, познакомил его с Н. Полевым, находившимся в то время еще в расцвете своей деятельности. Знакомству этому

предшествовали доходившие уже из Польши вести о приобретенной Мицкевичем известности, и это обстоятельство содействовало тому, что как Полевой, так и весь почти кружок тогдашних русских литераторов и поэтов в Москве радушно принял Мицкевича. Особенно сблизился последний с князем Вяземским, который по своему знакомству с польским языком и литературой скорее других мог оценить его талант. Вяземский же начал ряд переводов из Мицкевича, переведя прозою на русский язык его сонеты и поместив их в издававшемся Полевым «Московском телеграфе». Здесь же польский поэт познакомился и с великим представителем нашей поэзии, Пушкиным. Почти ровесники по возрасту (Пушкин был моложе Мицкевича на пять месяцев), они имели много общего и в своих взглядах, так как оба равно стремились тогда к осуществлению либеральных и гуманных идеалов, а чистый, нравственный характер обоих исключал всякую мысль о мелком соперничестве. Пушкин охотно признавал превосходство над собою польского поэта в большей начитанности и более систематическом образовании, а последний, со своей стороны, заявлял, что считает Пушкина великим поэтом.

**Мицкевич и Пушкин.** ***Горельеф М. Мильбергера на фронтоне дома в Москве, где жил Мицкевич.***

Дружбе этой, представляющей такое глубоко симпатичное явление, не суждено было продолжаться очень долго. События, последовавшие за отъездом Мицкевича за границу, разорвали ее и положили конец личным отношениям поэтов, но и тогда у каждого из них сохранилось глубокое уважение к таланту другого. Известно посвященное Мицкевичу стихотворение Пушкина, относящееся к августу 1834 года; в начале его личность польского поэта обрисовывается весьма привлекательными чертами:

Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал он; мы
Его любили… С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновен был свыше
И с высоты взирал на жизнь). Нередко

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Таким же образом и Мицкевич в своих поэтических произведениях оставил воспоминание этой дружбы с нашим великим поэтом. В стихотворном отрывке под названием «Памятник Петра Великого» заключаются между прочим следующие строки: «Вечером под дождем стояли два юноши под одним плащом, взявшись за руки: один был пилигрим, пришелец с Запада, неизвестная жертва злой судьбы; другой был поэт русского народа, прославившийся песнями на всем севере. Знакомы были они недолго, но тесно и уже несколько дней были друзьями. Их души выше земных преград, как две родственные альпийские вершины, которые, хотя и разорваны навеки струею потока, едва слышат шум своего врага, склоняя друг к другу поднебные вершины».

Уже из этих свидетельств самих поэтов можно видеть, что их общение не ограничивалось одним обменом литературными впечатлениями, простираясь и на другие сферы жизни. Тем легче было установиться между ними этому общению, что Пушкин в эту пору своей деятельности не расставался еще с вынесенными из юности идеалами, и влияние реакции заметно отразилось на нем лишь позже. Но и в области литературы оба поэта были близки по своему направлению, тем более что Мицкевич начинал уже замечать крайности исключительного романтизма; в эту пору своей жизни и Пушкин, и Мицкевич одинаково преклонялись перед гением Байрона, считая его величайшим поэтом. Это конечно должно было еще более скреплять их сближение. Знакомством с Полевым, Вяземским и Пушкиным не исчерпывались литературные связи Мицкевича в Москве: он был знаком и с Баратынским, братьями Киреевскими, Веневитиновым и некоторыми другими. В свою очередь, эти литературные знакомства повлекли за собою и светские, так как большинство русских литераторов вращалось тогда в высших кругах общества, а значительная часть принадлежала к ним и по рождению. Мицкевич возобновил здесь начатое им в Одессе знакомство с большим светом, бывая у князя Вяземского и в других аристократических домах.

Скука и почти одиночество первых месяцев пребывания в Москве сменились теперь для него жизнью разнообразной, если не веселой. Он тем охотнее пользовался представлявшимся ему обществом, что нетерпимость не принадлежала к числу его

недостатков. Раз обращенная на политические вопросы, мысль его не переставала работать в этом направлении и удаление от родины только содействовало сильнейшему развитию патриотического чувства, – но это последнее не разменивалось у него тогда на мелочи. В письме к Чечоту, упрекавшему его в слишком близких отношениях с русскими, он заявляет, что не намерен «высказывать свою любовь к родине, стоя на дороге и вызывая всех без разбору», и прибавляет, что «готов есть не только трефный бифштекс моавитян, но даже мясо с алтаря Дагона и Ваала, когда голоден». Что эта готовность не шла, однако, далее мелочей, видно из той фразы, которою поэт кончает свое письмо. «Я читаю, – говорит он, – „Фиеско“ Шиллера и „Историю“ Макиавелли». Условия переписки не позволяли Мицкевичу выразить свою мысль точнее, но если сопоставить эту фразу с писавшимся в это время «Конрадом Валленродом», мысль которого имеет много общего с обоими названными произведениями, то мы увидим, что напряжение патриотического чувства доводило его даже до признания принципа, что цель оправдывает средства. Но и такое настроение не мешало поэту искренно сходиться с московским обществом, в отношениях которого к себе он не видел ничего, что могло бы раздражать его наболевшее место, а, напротив, встречал участие и сочувствие.

Окончание только что упомянутой поэмы заставило Мицкевича подумать о наиболее удобном месте ее печатания. Сперва он хотел было издать «Валленрода» в Варшаве, но затем остановился на Петербурге и, пользуясь поездкою туда московского генерал-губернатора князя Голицына, в канцелярии которого он тогда служил, отправился с ним и сам. В Петербурге он нашел несколько знакомых уже по Москве русских литераторов, в том числе Пушкина, с которым здесь он сошелся особенно тесно, но сверх того, встретил и довольно значительное по сравнению с Москвой польское общество. Между тем после издания «Сонетов» поэтическая известность его уже в значительной степени упрочилась. Земляки встретили его с радостью, и Мицкевич, жаловавшийся в Москве, что за неимением польских книг он боится забыть родной язык, был не менее рад родному обществу.

Еще в первый приезд свой в Петербург он познакомился с Сенковским, известным ориенталистом и писателем, и сперва поддерживал это знакомство, но вскоре между ними произошел разрыв, вследствие которого Мицкевич охладел к Сенковскому и стал даже считать его опасным для польских интересов человеком. Зато тем усерднее бывал он в других польских домах и нередко по просьбе собравшихся гостей импровизировал,

поражая слушателей своим талантом. Особенно сильное впечатление в них оставила одна такая импровизация, произнесенная поэтом в день своих именин. Его польские знакомые и приятели чествовали этот день обедом, после которого поэт на данную ему тему «Самуил Зборовский» импровизировал целую историческую трагедию до двух тысяч стихов. При таких импровизациях особенно сказывалась крайняя впечатлительность Мицкевича: по свидетельству очевидцев, вся наружность его в это время изменялась, лицо приобретало необычное, вдохновенное выражение, голос становился особенно глубоким и сильным, и все это вместе производило такое влияние на слушателей, что редко кто из них мог оставаться хладнокровным.

Кроме польского общества и знакомых уже по Москве русских, Мицкевич завел и новые связи в среде русских литераторов, познакомившись с Жуковским и Козловым, у которых он встретил и радушный прием, и искреннее уважение к его таланту.

Как человек посторонний для русской литературы, Мицкевич не обращал внимания на существовавшие в среде представителей ее партии и, сближаясь с либеральным кружком, бывал в то же время и у Булгарина, с которым его могло, впрочем, связывать и национальное чувство.

В такой обстановке прожил Мицкевич в Петербурге до февраля 1828 года, когда, окончив печатанье «Конрада Валленрода», он возвратился в Москву. На этот раз, однако, пребывание его здесь было очень непродолжительно. Уже в апреле он снова предпринял путешествие в Петербург, получив разрешение переехать туда из Москвы. Перед отъездом его московские литераторы, в том числе Н. Полевой, Баратынский, Киреевские, Шевырев, устроили в честь него прощальный вечер, в конце которого И. Киреевский поднес ему от имени всех присутствовавших на память о них серебряный кубок с вырезанными на нем именами. При этом Киреевский прочел стихи, в которых высказывал сожаление о разлуке с Мицкевичем, уверял, что память о нем навсегда сохранится у них, и просил его, в свою очередь, не забывать своих московских друзей. Растроганный Мицкевич отвечал импровизацией на французском языке. Содержание ее было приурочено к случаю: поэт говорил о том, как скитальца ласково приняли в чужой земле добрые люди, угостили и одарили и как много лет спустя, по смерти скитальца, нашелся при нем их подарок, с которым он не расставался всю жизнь.

Так, дружески распрощавшись с московским обществом,

Мицкевич возвратился в Петербург, где к кругу его знакомств прибавилось еще одно, заключенное впервые, впрочем, еще в Москве. Это был дом известной польской пианистки того времени, Шимановской. Мицкевич познакомился с ней в Москве, куда она приезжала концертировать в конце 1827 года, а с той поры, как она переселилась в Петербург, что почти совпало с его собственным переездом, сделался частым ее гостем. Две дочери Шимановской, из которых одной было суждено впоследствии сделаться женою поэта, были в то время еще очень молоды, находясь в переходном возрасте от детства к девичеству, и Мицкевича привлекала в этот дом, главным образом, сама хозяйка, женщина умная и немало испытавшая и видевшая на своем веку, особенно в поездках за границу.

**Адам Мицкевич.** ***Рисунок неизвестного художника в альбоме Марии Шимановской***.

Шумная и несколько рассеянная жизнь столицы опять потянулась для поэта, в значительной мере отвлекая его от литературных работ. За все время пребывания здесь, то есть вплоть до мая 1829 года, Мицкевич написал только одну крупную вещь – поэму «Фарис». Но в это же время он выступил на литературном поприще и в иной, новой для него роли – критика. Будучи еще студентом, он напечатал, правда, однажды критическую статью, но она не заключала в себе никаких новых взглядов, была написана еще в ту пору, когда автор находился под полным и исключительным влиянием старой эстетической

школы, и вообще представляла довольно слабое произведение. Теперь Мицкевич, ободренный успехом своих произведений как среди польской, так и среди русской публики, и вместе с тем раздраженный отношением к нему польских критиков – классиков по направлению, – которые, даже и признавая в нем талант, продолжали нападения на романтическую подкладку его произведений и на отступления от классических правил, решился перейти в наступательное положение и, выпуская в свет в Петербурге собрание своих сочинений, снабдил его предисловием о варшавских критиках и рецензентах.

**Адам Мицкевич.** ***Гравюра А. Олещинского по медальону Давида д'Анже. 1829***.

Предисловие это представляло из себя резкую, местами даже преувеличенную, но в общем меткую и верную характеристику взглядов тогдашних патриархов польской критики и литературы, далеко отставших от современного движения и во многом

совершенно не понимавших его. Поэт не пожалел красок для обрисовки этой отсталости: по его словам, представляющим, впрочем, цитату из Байрона, спорить с кем-либо из признанных в Варшаве авторитетов о литературных вопросах было бы равносильно тому, что рассуждать в Айя-Софии с улемами о встречающихся в Коране бессмыслицах и ожидать с их стороны понимания и терпимости. Этою статьей Мицкевич решительно бросал вызов старой школе в польской литературе, и противники не замедлили им воспользоваться. Почти одновременно появилось несколько ответов с их стороны, а представители романтизма, в свою очередь, воспользовались примером самого крупного в своей среде человека и по всей линии польских журналов возгорелась жаркая полемика.

Личные обстоятельства Мицкевича сложились, однако, таким образом, что он уже не мог более поддерживать своих прежних связей. Жизнь в Петербурге тяготила его, как ни была она богата знакомствами. Из последних следует еще упомянуть особенно одно, не оставшееся, как можно предполагать, без влияния на него в течение последующей его жизни. Это было знакомство с Иосифом Олешкевичем, живописцем по профессии, мистиком по направлению, бывшим даже одно время руководителем масонской ложи «Белый Орел». Душевные свойства его, добродушие и простота, привлекали к нему Мицкевича, а Олешкевич, со своей стороны, пытался развить в нем мистическое настроение и, хотя не мог вполне достичь этого, однако не отчаивался в успехе, находя, как ему казалось, в поэте подходящую духовную организацию.

Но ни эта дружба, ни множество других приятельских отношений и знакомств не могли заменить Мицкевичу родины. Одно время он ласкал себя надеждой получить дозволение возвратиться в Литву, но вскоре должен был отказаться от этой мечты. Тогда ему представился другой исход, и он начал хлопотать об осуществлении давнишнего своего желания – о поездке за границу, средства на которую доставило ему издание последних произведений. Хлопоты эти были поддержаны его русскими знакомыми, особенно княгиней Зинаидой Волконской, и благодаря их стараниям увенчались успехом: император Николай разрешил Мицкевичу отправиться в заграничное путешествие. После этого Мицкевич еще раз съездил в Москву, простился с тамошними знакомыми и, возвратившись в Петербург, выехал из него уже навсегда 15 мая 1829 года, уговорившись с Одынцем, также отправлявшимся за границу, съехаться с ним в Дрездене и затем продолжать путешествие вместе.

Почти пятилетнее пребывание внутри России не прошло бесследно для Мицкевича. За это время он возмужал и окреп не только физически, но и умственно. Знакомство с иными условиями быта на широком пространстве от Петербурга до Москвы и Одессы, с другою национальностью, хотя и часто поверхностное, не могло не содействовать развитию в нем наблюдательности, представляя неизвестные до сих пор стороны жизни и невольно обращая внимание на такие мелочи родного быта, которые оставались раньше незамеченными, но ярко выступали при сравнении. В свою очередь, личные связи с представителями русской литературы, более развитой и ближе стоявшей к новому направлению, чем тогдашняя польская, обладавшей более серьезными критическими силами, способствовали утверждению еще ранее развившихся у него эстетических взглядов.

Была в этом невольном пребывании и еще одна благотворная для поэта сторона: под давлением его поэт оторвался от созерцания исключительно личных невзгод и перенес свое внимание на более широкие вопросы. Невзгода, постигшая его, пробудила в нем общественные струны, не переставшие звучать уже до самого конца его жизни, и тем самым если не изгладила, то, по крайней мере, смягчила в его душе память первой неудачной любви. Это сознавал и сам Мицкевич, когда писал одному своему приятелю: «Я впервые стал весел у базилиан, я спокоен и почти благоразумен в Москве». Светское общество, в котором поэт вращался в Одессе, Москве и Петербурге наравне с литературным, не испортило его скромного и вместе с тем исполненного достоинства характера, не заставило его гоняться за дешевой салонной славой, и все дурное его влияние сказалось разве во временном ослаблении – в период пребывания в Петербурге – поэтического творчества. Зато оно вместе с внешним лоском, приобретение которого нельзя считать, конечно, особенно ценным, дало Мицкевичу большую самоуверенность и сознание своих сил, и он выезжал теперь из России уже не тем застенчивым провинциалом, не знающим жизни больших городов, каким явился пять лет назад из Вильны в Петербург.

Это развитие поэта сказалось и большею определенностью его взглядов на поэтическое творчество. Увлечение романтизмом не прошло еще совершенно, но вошло, по крайней мере, в более тесные границы; Мицкевич понимал теперь сущность этого направления, в отличие от классиков, как стремление воспроизвести живую действительность. Ошибка классиков, по его мнению, заключалась в том, что они пишут с манекенов, между тем как поэзия должна черпать свое содержание

непосредственно из жизни, причем воображению предоставляется роль второстепенная, заключающаяся лишь в расположении материала. Это стремление к истине и простоте ведет поэзию к воспроизведению новых форм, заимствуемых отчасти из простонародной поэзии, в которой правда изображения всегда стояла на первом плане и народный дух отразился с наибольшею силою; но простонародная поэзия, благодаря узости круга своих понятий, не может сделаться единственным источником современного творчества, и другим таким источником, более возвышенным, является религиозное чувство. Поэтическое вдохновение почти совпадает с религиозным одушевлением, и истинными поэтами, согласно мнению Мицкевича, были только пророки. Приближаясь, таким образом, одною стороною своих взглядов к современному реалистическому пониманию творчества, Мицкевич, с другой стороны, вносил в него мистический оттенок, что зависело как от влияний, окружавших его детство, так, вероятно, и от бесед с Олешкевичем в Петербурге. Пока этот мистицизм сказывался и в настроении, и в созданиях поэта в весьма слабой степени, но изменение обстоятельств жизни могло подействовать на его усиление.

# Глава IV. Добровольный изгнанник

***Поездка за границу. – Свидание с Гёте и взаимная неудовлетворенность обоих поэтов. – Окончательный поворот Мицкевича к религиозному миросозерцанию. – Увлечение Генриеттой Анквич. – Польское восстание 1831 года и вышедшая из него эмиграция. – Тяжелое положение поэта среди эмигрантов. – Теория народного мессианизма. – «Пан Тадеуш» как светлый луч в темном царстве овладевшего поэтом мистицизма***.

Выехав из Петербурга на пароходе, Мицкевич высадился на берег в Травемюнде и оттуда сухим путем через Любек, Гамбург и Берлин отправился в Дрезден. На этой дороге более долговременной остановкой для него был только Берлин, где он познакомился с польскими студентами, посещавшими здешний университет, славившийся тогда лекциями Гегеля. Мицкевич был несколько знаком с немецкой философией; еще будучи учителем в Ковно, он читал труды Канта и Шеллинга, но и тогда уже это чтение давалось ему с большим трудом, а с того времени поэт отвык от философских рассуждений, отводя даже в теории первое место непосредственному чувству. Тем менее могла ему понравиться заключенная в туманную оболочку и выраженная запутанным и неясным языком философия Гегеля. Он посетил несколько лекций славного профессора, но остался к ним вполне равнодушен и даже посмеивался над энтузиазмом к нему студентов. Около месяца пробыл Мицкевич в Берлине и затем отправился в Дрезден, где, согласно условию, он должен был съехаться с Одынцем. Из последнего города оба молодых путешественника направились в Веймар – на поклонение к признанному патриарху европейских поэтов Гёте.

Свидание Мицкевича с Гёте действительно состоялось, но, по-видимому, обе стороны остались не вполне довольны им. Гёте имел вообще довольно поверхностное и неясное понятие о деятельности Мицкевича, из произведений которого были переведены на немецкий язык лишь ничтожные отрывки; общая же репутация последнего как реформатора польской поэзии в духе романтизма была еще недостаточна для того, чтобы выставить его в привлекательном свете в глазах человека, давно уже переживающего это движение. И сами личности обоих поэтов были во многих отношениях разительно противоположны: Гёте, находившийся в это время уже на склоне своей жизни, обладал ясным и положительным умом, разносторонним и глубоким образованием и был чужд всякого мечтательного увлечения. Эта

пытливость и глубина его ума особенно поразили Мицкевича, но не привлекли его, так как, верный своему догмату о первостепенном значении чувств, не эти качества он считал главными в поэте. В холодной атмосфере положительного знания, окружавшей великого немецкого писателя, польский поэт со своей горячей и страстной мечтательностью, со своими взглядами, выработанными скорее путем поспешного обобщения, чем кропотливого научного исследования, наконец, со своим мистически-религиозным настроением – чувствовал себя неловко, стушевывался, и даже обаяние его личности заметно падало. Поэтому отношения между Гёте и Мицкевичем за неделю, прожитую последним в Веймаре, не перешли за границу взаимной вежливости.

Отсюда путешественники направились в Бонн и после недолгой остановки в этом городе, которой Мицкевич воспользовался для того, чтобы завязать знакомство с Августом Шлегелем, переехали Швейцарию и через Сплюген спустились в Италию. Проехав с более или менее продолжительными остановками Милан, Венецию и Флоренцию, они прибыли в Рим, где рассчитывали поселиться на более продолжительное время. Действительно, Мицкевич пробыл в Риме довольно долго, выезжая временами из него на короткие сроки. Это пребывание в «вечном городе» имело большое влияние на Мицкевича как в том отношении, что благодаря ему в душе поэта окончательно возобладало религиозное настроение, так и потому, что здесь последний раз в жизни он испытал сильную любовь, оставшуюся, как и в первый раз, неудовлетворенной, – хотя и по другим причинам.

Италия как страна по преимуществу художественная, в которой сохранились величайшие памятники искусств, не производила особенного впечатления на Мицкевича. Его образование не было достаточно полно для того, чтобы подготовить его к восприятию тех эстетических впечатлений, какие в изобилии представлялись здесь. Точно так же мало привлекала его и история страны. Он, правда, читал в Риме Ливия, находя особенный интерес в этом чтении, когда можно вечером идти смотреть сцену событий, о которых читал утром; но интерес этот был преимущественно делом чисто художественного чувства. Критические изыскания Нибура возмущали его, потому что они разрушали прекрасные предания, и он не колебался утверждать, что история есть скорее область поэта, который своим чувством может охватить дух событий вернее ученого специалиста. При таком поверхностном отношении к предмету ни та, ни другая сторона его не могла оказать сильного влияния на

ум поэта.

Но гораздо понятнее оказалась для него, гораздо явственнее говорила его сердцу Италия современная, с ее папством и католицизмом. Религиозное чувство никогда не умирало в Мицкевиче, но во время пребывания своего в университете он временно до некоторой степени усвоил себе если не дух, то господствовавшую тогда манеру французской философии XVIII века с ее скептицизмом. Уже увлечение романтизмом поколебало это направление, и в последующие годы жизни Мицкевича оно все более становилось чуждо ему, но он не останавливался еще вполне серьезно над этим вопросом, так как действительность ставила другие задачи. В Италии католицизм предстал пред ним во всем своем великолепии, так сильно действующем на впечатлительные натуры, с торжественными обрядами и пышными процессиями, которые должны были оказать тем большее влияние на поэта, что с самого момента выезда с родины он почти не видел ничего подобного. Воспоминания детства, давнишнее, шедшее от университетских времен убеждение в необходимости нравственного воздействия на жизнь общества и признание возможности такого воздействия со стороны религии; наконец, непосредственное впечатление от зрелища величественной картины католичества в его главном местопребывании – все это соединилось вместе, чтобы закончить переворот в воззрениях поэта, и это совершилось тем легче, когда ко всем этим побудительным причинам присоединилось еще и влияние любимой женщины.

Поселившись в Риме, Мицкевич с Одынцем нашли здесь самое разнообразное по своему национальному составу общество, среди которого пользовавшийся уже известностью польский поэт вскоре занял одно из наиболее выдающихся мест. Особенно часто бывал он в двух домах: русском – у Хлюстиных, где молодая девушка Анастасия Хлюстина, известная красавица того времени, собирала вокруг себя блестящее общество артистов, художников и писателей, и польском – у графа Анквича. Дочь последнего, Генриетта, мало-помалу привлекала к себе симпатии поэта, и уже вскоре они обратились в серьезное чувство. 18-летняя девушка, обладавшая для своих лет и положения серьезным литературным и артистическим образованием, Генриетта Анквич еще до личного знакомства с Мицкевичем знала его произведения, увлекалась ими и мысленно делала личность их автора своим героем. Немудрено, что при встрече с ним, когда к прежним впечатлениям присоединилась еще и сила личного его обаяния, это увлечение с произведений перешло на самого автора. Но на пути взаимного чувства этой пары стояла немаловажная

преграда, заключавшаяся в гордости графа. Анквич охотно принимал Мицкевича в своем доме, но он представлялся ему, тем не менее, человеком, не имеющим ни имени, ни положения, и не о такой партии мечтал он для своей дочери. Не изменяя своей вежливости и радушия по отношению к Мицкевичу, граф принял, однако, в высшей степени холодно первые признаки зарождавшегося в поэте чувства к его дочери. В первое время эта холодность не оттолкнула поэта, и он продолжал часто посещать дом Анквичей, проводя здесь время в разговорах с Генриеттой о поэзии, музыке и археологии. Несомненно, влияние этих бесед отчасти отразилось и на религиозном настроении его, так как Генриетта, воспитанная в духе господствующей католической церкви, была искренно предана ей.

Среди этих впечатлений, среди шумной и богатой удовольствиями светской жизни в Риме быстро прошла зима 1829/30 года и с наступлением весны, когда Анквичи уехали в Париж, Мицкевич также выехал из Рима, сперва на юг Италии, а затем в Швейцарию. Во время путешествия по последней он встретился и познакомился с молодым, только что начинающим тогда свое славное впоследствии литературное поприще поэтом, графом Сигизмундом Красинским. Впечатление, произведенное Мицкевичем на последнего, было самого благоприятного свойства. Красинский писал о нем восторженные отзывы своему отцу. Так, в одном письме он говорил: «Я научился от него хладнокровнее и беспристрастнее понимать дела этого света, избавился от многих предубеждений, предрассудков и ложных представлений. Это человек, стоящий совершенно на уровне европейской цивилизации, умеющий удивительно согласовать сухой реализм жизни с самыми возвышенными мыслями поэзии и идеальной философии, человек чистейших намерений и желаний, обладающий вместе с тем обширным умом, обнимающим все науки и искусства. Его суждения о политических и научных вопросах крайне ценны, рассудок непоколебим в делах обыденной жизни, характер тих и спокоен; видно, что он прошел школу несчастья. Он вполне убедил меня, что всякая шумиха, как в действии, так и в речах, и в писании – глупость, что истина и одна только истина может быть прекрасна и привлекательна в нашем веке, что все украшения и цветы стиля – ничто, когда нет мысли; что все заключается в этой мысли и что, желая быть теперь чем-нибудь, нужно учиться и учиться и искать истины везде, не давая обмануть себя блесткам, светящимся некоторое время, подобно светлякам в траве, а потом гаснущим навеки. Встреча с ним принесла мне много добра и, несомненно, будет иметь влияние на дальнейшую мою жизнь, влияние доброе и

благородное». В этом отзыве много, конечно, юношеского преувеличения, но, тем не менее, он имеет значение, показывая, какое впечатление производил в эту пору своей жизни Мицкевич на сближавшихся с ним людей.

Во время путешествия Мицкевича по Швейцарии в Париже вспыхнула июльская революция, которую он, по словам его друзей, давно уже предсказывал. Не нужно было быть пророком, чтобы предвидеть неизбежность столкновения правительства Карла X с народом; но поэт основывал свое убеждение в этой неизбежности не на внимательном изучении политической жизни Франции, а на инстинктивном сочувствии к Наполеонидам, начало которого коренилось еще в воспоминаниях детства. Тогда как в самой Франции никто почти еще и не думал о восстановлении империи, он был убежден, что потомки Наполеона должны занять французский трон, и это убеждение не было разрушено и последовавшими событиями. Между тем революция вынудила графа Анквича с семейством уехать из Парижа. В Швейцарии Анквичи встретились с Мицкевичем и провели вместе несколько дней. Ясно сказавшееся при этом чувство поэта к Генриетте вызвало, наконец, давно назревавший взрыв со стороны графа, и на пути в Италию он объявил своей жене, покровительствовавшей дочери, что он скорее согласится видеть последнюю в гробу, чем женою Мицкевича. Для самого Адама эта вспышка оставалась пока неизвестной, но уже все обращение графа достаточно говорило о его нежелании иметь Мицкевича своим зятем, и поэт, возвратившись в Рим, стал избегать слишком коротких отношений с графским домом. Тем временем Мицкевич решил окончательно засвидетельствовать свой полный поворот к католической церкви и с этой целью исповедовался и причастился в Риме. Мистически настроенный ум поэта немало поразило то, что, когда прямо из церкви он зашел к Анквичам, ему рассказали дважды повторявшийся сон Генриетты, в котором она видела его, одетого в длинную белую одежду с белым ягненком на руках. В этом он увидел еще одно доказательство существования тайного сочувствия душ.

В то время как происходили эти события в личной жизни Мицкевича, в политической жизни его народа назревало событие, имевшее глубокое влияние на всю последующую деятельность значительной части польской интеллигенции, в том числе и самого поэта. В царстве Польском разразилось восстание, и многие поляки, проживающие за границей, поспешили под его знамена. Этого же ожидали и от Мицкевича, но он не спешил со своим решением. Он не ждал восстания и не надеялся на его успех; поэтому, несмотря на все свое сочувствие к восставшим,

поэт медлил с выездом из Рима. Выехав наконец, он отправился в Париж, откуда надеялся пробраться в Польшу, но не преуспел в этом и направился в польские провинции Пруссии, куда прибыл, однако, уже слишком поздно, когда переезд границы сделался невозможным благодаря строгой ее охране, и само восстание близилось уже к своему концу. Мицкевичу пришлось быть только свидетелем отступления за прусскую границу уцелевших отрядов польского войска. Ввиду гибели национального дела он решил никогда уже более не возвращаться в Россию и разделить, по крайней мере, судьбу изгнанника с теми, с кем не участвовал в борьбе.

С этого момента началась для него жизнь эмигранта, тем более тяжелая на первых порах, что крушению надежд на независимость народа предшествовало разрушение личных его надежд в планах на будущее. Перед отъездом из Рима, не надеясь сломить сопротивление графа Анквича, он отказался от всякой надежды на брак с его дочерью и больше уже не делал никаких попыток к этому. Быть может, такое решение было слишком поспешно и преждевременно, и граф позволил бы еще уговорить себя, но гордость поэта, человека бедного, не позволяла ему слишком настойчиво добиваться руки богатой и знатной невесты.

Он поселился теперь в Дрездене, ставшем в эту пору сборным пунктом для большинства эмигрантов. Поэт не занимал, однако, особенно видного места среди последних уже потому, что не участвовал активно в происходящих событиях, и это обстоятельство ставилось ему некоторыми даже в упрек. Когда однажды он заметил в разговоре, что восставшим нужно было похоронить себя под развалинами Варшавы, а не отступать за границу, ему возразили: «Сделать это следовало разве для того, чтобы у вас было одной развалиной больше, на которой можно было бы воспевать наше падение». Эти и подобные замечания, а равным образом и раздор, начавшийся уже тогда в среде польской эмиграции, побуждали Мицкевича не выступать за пределы тесного дружеского кружка, тем более что в это время он предпринял новый большой литературный труд, долженствовавший, по его убеждению, служить продолжением той борьбы, которая начата была восстанием. Трудом этим была третья часть «Дзядов», имевшая, впрочем, со второй и четвертою общего только одно название. В ней представлялись события в Вильне 1823—1824 годов, арест филаретов и следствие Новосильцева, причем все политические страсти восстания были перенесены в описываемую эпоху. В произведении этом ярко выразился талант Мицкевича, – но в нем сказалось и господствующее религиозное настроение поэта, возлагающего на

Бога решение всех политических задач своего века: правоверность поэта в этом отношении доходила до такой степени, что он не усомнился поместить в свое произведение сцену изгнания нечистого духа.

Обстоятельства европейской политики, отнимавшие у эмигрантов почти всякую надежду на помощь со стороны какого-либо государства, содействовали и усилению среди них пылкого религиозного чувства, искавшего и чаявшего чудес и вдохновений, и Мицкевич, уже в Риме торжественно признавший католицизм, сделался теперь открытым проповедником его. По его мнению, поляки должны были придать своему движению религиозно-нравственный характер, положив в основу его католицизм. Эти мнения, естественно, ставили поэта в оппозицию либерализму, который он презрительно называл «финансовым». С другой стороны, то унижение, в которое повергла польскую эмиграцию неудача восстания, вызывало, в свою очередь, реакцию, стремление оправдать себя высотою своих целей, недостижимых именно вследствие их высоты, и у Мицкевича начинает появляться идея мессианизма. «Может быть, – говорит он в письме к Лелевелю, – наш народ призван поведать другим евангелие народности, нравственности и религии, презрения к бюджетам, единственному принципу нынешней, поистине таможенной, политики. Сами ученые французы, – поясняет он далее свою мысль, – не чувствуют ни патриотизма, ни энтузиазма к свободе, они только *рассуждают о* нем».

Несмотря, однако, на этот нелестный отзыв о французах, Мицкевич вскоре отправился в Париж, так как, с одной стороны, ему нужно было позаботиться о напечатании оконченной третьей части «Дзядов», а с другой – саксонское правительство начинало явно выказывать неохоту терпеть долее пребывание в своих границах значительного количества эмигрантов.

Ко времени прибытия Мицкевича в Париж там собрались уже все более видные представители эмиграции, делившиеся, главным образом, на две партии – аристократов и демократов. Горячая вражда обеих партий, взаимные обвинения, масса самых несбыточных планов и надежд, находивших, однако, последователей, – вот что встретил здесь Мицкевич. Оторванные от почвы действительной жизни эмигранты жили мечтами, и чем мрачнее и непригляднее была действительность, тем сильнее разыгрывалась их фантазия, жадно воспринимавшая самые неясные и неопределенные надежды. Мицкевич по складу своих убеждений не подходил ни к одной из главных партий, на которые разделялась эмиграция: демократ, хотя и не вполне последовательный, и революционер по своим политическим

взглядам, он в то же время был ревностным сторонником папства и католичества – и это отталкивало от него Лелевеля и других демократов, – тогда как аристократы пугались его крайних предложений.

Очутившись, таким образом, в стороне от этих партий, поэт не думал, однако, отказываться от влияния и голоса в политических делах эмиграции, а, напротив, самым ревностным образом защищал и устно, и в печати свою точку зрения, в силу которой в основу решения польского вопроса должен быть положен религиозный интерес. Развитие этого положения под влиянием все усиливавшегося мистицизма повело его к отрицанию европейской науки и всей цивилизации, как порождений исключительно эгоистического начала. Как прежде в первых своих романтических произведениях он противопоставлял данным точной науки веру толпы, так теперь еще резче он всей цивилизации противопоставил религиозное чувство народа, которое одно, по его мнению, сохранило в себе истину. За этим необходимо являлся уже и дальнейший вывод, что народ, сохранивший эту истину, должен будет внести ее и в жизнь всего человечества, заменив ею старые, узкие формы жизни. Восстановление Польши должно было знаменовать собою возрождение справедливости в человеческих и народных отношениях, и одно не могло совершиться без другого.

Эти воззрения, в которых народный мессианизм играл уже весьма видную и заметную роль, были высказаны поэтом в двух поэтических произведениях, написанных в виде подражания Библии, «Книгах польского народа» и «Книгах польского пилигримства», а также в целом ряде журнальных статей, – но вначале они не завоевали сочувствия эмигрантов, тем более, что соединялись с самою удивительною по своим аргументам критикой существующих европейских порядков и с такими практическими указаниями и советами, негодность которых била в глаза. Мицкевич предлагал, например, собрать в Париже оставшихся депутатов варшавского сейма и провозгласить это собрание представителем всех народов, так как все остальные представительные собрания выбраны при действии старых, негодных идей. За таким провозглашением должно было, по его мнению, почти само собою последовать и утверждение нового порядка, при котором интересы всех угнетенных национальностей нашли бы себе удовлетворение.

Лишь позже, когда постоянные неудачи и жизнь на чужбине развили в эмиграции до высочайшей степени страстную мечтательность, привились в ней и взгляды Мицкевича, имевшие своим источником, с одной стороны, романтическое понимание

народности, с другой – религиозный мистицизм. Теперь же гораздо более радушный и восторженный прием встретила вышедшая тем временем в свет третья часть «Дзядов». Но, восторженно принятое публикой, это произведение надолго поссорило Мицкевича с другим приобретшим уже известность польским поэтом, Словацким. Дело в том, что Мицкевич в своей поэме выставил в низкой роли доносчика под весьма прозрачным прикрытием отчима Словацкого, профессора Бэкю, про которого действительно, хотя и не основательно, ходили такие слухи, но с которым, сверх того, у поэта были и личные счеты. Взбешенный Словацкий, также находившийся в Париже в числе эмигрантов, хотел было вызвать Мицкевича на дуэль; но друзья убедили его не делать этого, и тогда он уехал в Швейцарию, чтобы, по крайней мере, не встречаться с оскорбившим его человеком.

Между тем личное положение Мицкевича, несмотря на новый литературный успех, доставленный ему третьей частью «Дзядов», было очень тяжело и в материальном, и нравственном отношениях. Средства к жизни он получал исключительно от издания своих сочинений, но вскоре уже оказалось, что этого источника крайне недостаточно, и ему пришлось прибегнуть к переводам и другим литературным работам второго порядка. Постоянные же раздоры в среде эмигрантов, их волнения и споры, наконец, неуспех его политической проповеди, в истинности которой он был глубоко и страстно убежден, – все это мучило его и доводило почти до болезненного расстройства. К этому присоединился и еще один удар: один из друзей Мицкевича, молодой поэт, находившийся под сильным его влиянием, Стефан Гарчинский, с которым он впервые познакомился в Берлине, заболел чахоткой. Мицкевич отправился вместе с другом в Швейцарию, воздух которой мог хотя бы на короткое время продлить жизнь больного, затем переехал с ним в южную Францию и оставался с Гарчинским до самой смерти его, последовавшей осенью 1833 года. Мицкевич за время болезни друга истратил все свои сбережения, а уход за больным совершенно подорвал его и без того ослабленные силы. Возвращаясь в Париж, он писал друзьям: «Я похож теперь на француза, возвращающегося с войны 1812 года: деморализованный, слабый, совершенно оборванный, почти без сапог. До сих пор я ни о чем не могу думать, но со временем отдохну, и, надеюсь, вернется и здоровье».

В такой-то обстановке писал в это время Мицкевич величайшее свое создание, в котором его талант достиг высшей точки своего развития, – «Пан Тадеуш». Поэт начал его еще в декабре 1832 года и продолжал с редкими перерывами,

вызывавшимися лишь нуждой в немедленном заработке или же обилием других дел, как это было во время болезни Гарчинского, вплоть до февраля 1834 года. Среди неудач, печали и скорби настоящего, окутанного почти беспросветным мраком, поэт находил утешение и бодрость в воспоминаниях о прошедшем, о детстве и юности, проведенных на родине, переносясь мыслию на эту последнюю и оживляя ее перед собою силою поэтического воображения. Ум, уставший от шумных споров политических партий, от крикливой безладицы эмигрантской жизни, охотно отдыхал на мирных картинах тихой природы и деревенской обстановки. Это настроение, под влиянием которого создавалась поэма, ярко и сознательно выражено Мицкевичем в его чудном «Вступлении». «О чем здесь думать, на парижской мостовой, – говорит он, – слыша вокруг стук, проклятия и ложь, несвоевременные планы, слишком поздние сожаления, унизительные ссоры?..» Поэт знает, что это – последствия народного несчастья и тяжелого положения эмигрантов, в котором единственное возможное для них счастье – «запереть двери от шума Европы, унестись мыслью в более счастливые времена и думать, мечтать о своей стране». «Теперь для нас, – говорит он, – непрошеных гостей в свете, во всем прошедшем и во всей будущности – только один край, в котором есть немного счастья для поляка: край детских лет». И, переносясь мысленно в этот край, «святой и чистый, как первая любовь», в котором он «редко плакал и никогда не тосковал», поэт находил в нем утешение и даже надежду, которой не давала ему печальная действительность. Благодаря именно лирическому настрою произведения, важного для самого творца, Мицкевич погрузился в работу над ним со всею энергиею и усидчивостью, на какие только был способен. Первоначально план «Пана Тадеуша» был значительно скромнее, но по мере хода работы он все более разрастался, пока поэма от задуманных сначала четырех песен не дошла до двенадцати. Сам Мицкевич в первых своих письмах об этом произведении определял его как «сельскую поэму вроде „Германа и Доротеи“» и сообщал, что писание влечет его к себе неудержимо, что оно «несказанно радовало его, перенося в милую родину». Летом 1834 года «Пан Тадеуш» вышел в свет и принес своему творцу громадный триумф. Впечатление, произведенное этой поэмой, в которой Мицкевич, освободившись уже от всякого увлечения романтизмом и байронизмом, дал спокойный и ясный шляхетский эпос, было необыкновенно. Словацкий, прочтя поэму, признал великий талант Мицкевича, над которым он перед тем смеялся, и забыл даже нанесенное ему оскорбление, а польская критика единогласно провозгласила «Пана Тадеуша» величайшим

произведением своей литературы.

Но в то время как поэма находила восторженный прием в публике, сам творец ее был ею уже недоволен, и это недовольство проистекало не из авторской скромности, не из каких-либо частных недостатков произведения, а от причин более важных – завершавшегося в это время серьезного перелома в его миросозерцании. То реалистическое воззрение, которым проникнут «Пан Тадеуш», недолго оставалось господствующим в душе поэта и все более вытеснялось мистицизмом, ожившим благодаря несчастно складывавшимся обстоятельствам. Едва кончив поэму, Мицкевич писал Одынцу: «Вчера я закончил „Тадеуша“ – огромные двенадцать песен; много пустого, но много и хорошего… Пера я, кажется, никогда уже не обращу на пустяки, может быть, я и „Тадеуша“ бросил бы, но он был близок к концу. Кончил я с трудом, потому что дух порывал меня в другую сторону, к дальнейшим „Дзядам“, из которых я намерен сделать единственное произведение мое, достойное чтения… Я убеждаюсь, – прибавляет он, – что слишком много жилось и работалось для мира сего, для пустых похвал и мелких целей. Только то произведение чего-нибудь стоит, посредством которого человек может исправиться и научиться мудрости». Нравственные задачи, таким образом, открыто ставились Мицкевичем целью искусства, но этот принцип признавался им еще и раньше, в пору юности, и не в том заключался поворот в воззрениях поэта, а в том, что под влиянием охватившего его настроения эти нравственные задачи, с одной стороны, сильно сузились, с другой же – приняли такой характер, при котором достижение их с помощью искусства делалось невозможным, так как они чуть не прямо противополагались последнему. И по мере того как мистические идеи все более овладевали поэтом, все реже и реже появлялись у него вспышки поэтического вдохновения, ставшего теперь редким гостем. Густой туман мистицизма, на время пробитый, как бы солнечным лучом, созданием «Пана Тадеуша», затем опять, уже сплошною пеленою, спускается на жизнь Мицкевича, постепенно превращая его из великого поэта в нетерпимого фанатика и сектанта. Весь остальной период жизни Мицкевича был занят этим превращением, благоприятные условия для которого находились и в организации самого поэта, и еще более – в окружавшей его обстановке.

# Глава V Мистические увлечения

***Женитьба Мицкевича. – Неудача его на драматическом поприще. – Ослабление творческой силы. – Профессура в Лозаннской академии. – Кафедра славянских литератур в College de France. – А. Товянский и его мистическое учение. – Мицкевич делается проповедником товянизма. – Его удаляют с профессорской кафедры.***

Вскоре после издания «Пана Тадеуша» в семейной жизни Мицкевича произошла довольно существенная перемена. Наскучив холостой жизнью, он задумал жениться, и выбор его пал на Селину Шимановскую, ту самую, которую он еще девочкой знал у ее матери в Москве и Петербурге. Шимановская приняла сделанное ей письменно предложение Мицкевича, приехала в Париж, и здесь в середине 1834 года состоялась их свадьба, прекратившая на несколько дней в среде эмиграции, по словам поэта, политические прения. Брак этот, само собою разумеется, был заключен не по любви, по крайней мере – со стороны поэта, который не видел выбранной им невесты со времени своего отъезда из Петербурга, когда ей было 15 лет, но, тем не менее, первое время супруги жили счастливо. Веселый характер молодой жены несколько разгонял и умерял мрачное настроение поэта, и после трех недель супружеской жизни он писал друзьям, что его желания заключаются лишь в том, чтобы и впредь пользоваться таким же счастьем.

**Селина Мицкевич, урожденная Шимановская, жена поэта с дочерьми Марией и Еленой.** ***Литография М. Борреля по рисунку с натуры З. Шимановской. 1851.***

Вскоре, однако, проявились и менее приятные стороны супружества, заключавшиеся, главным образом, в увеличении расходов. Несмотря на всю неприхотливость и экономию Селины, тех маленьких средств, какие получал Мицкевич от издания своих сочинений и которых было вполне достаточно для него одного, не хватало теперь для жизни вдвоем. Приходилось искать каких-нибудь средств заработка; всего естественнее, конечно, было

искать их в литературном труде. Поэт не чувствовал, однако, вдохновения и не решался приступить к исполнению какого-либо поэтического замысла на польском языке. Он нашел выход из этого затруднения, начав писать статьи и небольшие повести по-французски, которые и помещал затем в парижских журналах. Но так как эти мелкие работы давали очень небольшой доход, а нужда в заработке не только не уменьшалась, но с рождением дочери еще увеличилась, то у него явился вскоре более обширный план. Он задумал попробовать свои силы в драматургии и действительно написал по-французски пятиактную драму «Барские конфедераты». Главною целью его при этом была, по выражению его письма, «великая финансовая афера»: драматические произведения в Париже давали в то время своим авторам в большинстве очень крупный доход, и Мицкевичу хотелось добыть себе своим трудом большее или меньшее обеспечение – с тем чтобы иметь возможность, говоря опять его словами, «долгое время спокойно блуждать по отечественной литературе». Надежды, однако, обманули его. Несмотря на лестные отзывы о его драме нескольких французских литераторов, в том числе и известной писательницы Жорж Санд, дирекция театра Porte-Saint-Martin, куда та была отдана, отказалась поставить ее на сцене, ссылаясь, кажется, на недостаток в ней драматического действия. Сраженный неудачей, Мицкевич уже не возобновлял более попыток, и отвергнутая драма в значительной своей части в настоящее время утеряна; сохранились только первые два акта ее.

В то время как поэт переживал эту неудачу, грозившую для него весьма серьезными финансовыми затруднениями, на помощь ему пришло французское правительство, назначившее единовременное пособие в тысячу франков и восемьдесят франков в месяц постоянной пенсии. Эта скудная помощь не могла, однако, считаться лишней для поэта, особенно когда летом 1838 года к его семейству прибавился второй ребенок – на этот раз сын, – но, тем не менее, она, конечно, не избавляла Мицкевича от необходимости обеспечить своей семье каким-либо путем более или менее безбедное существование. Среди этих забот о куске хлеба он искал и находил некоторое утешение только в религии и чтении мистических книг, которому предавался все с большим жаром. Инстинкт творчества постепенно ослабевал в нем, и вместе с тем сами взгляды на поэзию подвергались радикальному изменению.

«Истинная поэзия нашего времени, – писал он в 1835 году одному из приятелей, – может быть, еще не родилась; видны только симптомы ее появления… Мне кажется, что вернутся

такие времена, когда нужно будет быть святым, чтобы быть поэтом, что нужны будут вдохновение и сведения свыше о вещах, которых разум не может сообщить, чтобы пробудить в людях уважение к искусству, слишком долго бывшему актрисой, распутницей или политической газетой. Эти мысли часто пробуждают во мне сожаление и едва не тоску; мне часто кажется, что я вижу обетованную землю поэзии, как Моисей с горы, но я чувствую, что недостоин вступить в нее».

В этих словах опять-таки есть значительное сходство со взглядами на высокое этическое назначение поэзии, высказывавшимися Мицкевичем в юности; однако между тем и другим воззрением лежит целая пропасть. Если раньше Мицкевич понимал это нравственное назначение поэта как свободное его самоопределение, то теперь оно втискивалось им в условные рамки официальной церкви и приобретало сверхъестественный, неземной характер.

Но душевный процесс, переживавшийся Мицкевичем, происходил не в нем одном. Отчаянное положение польской эмиграции во Франции и постепенная потеря, по мере того как длилось это положение, надежды на выход из него при помощи обыкновенных путей, пробудили во многих эмигрантах, даже причислявшихся ранее к вольномыслящим демократам, семена мистической религиозности, зароненные в них католическим воспитанием. Мицкевич увидел теперь себя не одиноким, как прежде, в своем настроении; ему удалось даже основать религиозное общество в духе строгого католицизма, которому дано было название «Соединенные братья» и члены которого, обязываясь вести строго нравственную жизнь, в то же время усердно предавались чтению и переводу мистических сочинений вроде Сен-Мартена и Дионисия Ареопагита. Некоторые из членов этого общества, основанного в конце 1834 года, сделались впоследствии учредителями известного ордена «Змартвые-встанцы». И духовное единение с людьми одинаково настроенными, и жизненные неудачи способствовали тому, что Мицкевич все глубже и глубже уходил в мистицизм. Его вера во все чудесное достигла таких размеров, что он с целью узнать будущее не усомнился отправиться к известной ясновидящей Парран и под большим секретом передавал в письмах друзьям ее пророчества вроде того, что скоро должны произойти большие политические перевороты, которые начнутся с Польши, причем из этой страны выйдет политический мессия народов.

Уклоняясь от споров политических партий эмиграции в Париже, Мицкевич и его единомышленники искали, однако, в своем религиозном увлечении того же самого, что осуждаемые

ими «политиканы» в помощи других держав и в разных политических системах, – пути к восстановлению независимости страны. И те, и другие одинаково ожидали этого восстановления от постороннего вмешательства – только одни добивались вмешательства Франции или какого-либо другого западного государства, а другие – неба. Политики усматривали в воззрениях Мицкевича враждебный им клерикализм, и это способствовало охлаждению между ним и многими его прежними друзьями.

Тем временем поэту представилась возможность заняться тем, что если и не вполне соответствовало его наклонностям, то, по крайней мере, позволяло устранить грозившую семье нужду. В Лозаннской академии в Швейцарии освободилась в 1838 году кафедра латинской литературы. Мицкевич решился предложить себя в качестве кандидата на нее, отправился в Швейцарию и с помощью некоторых знакомых успел уже почти добиться благоприятного результата, когда получил известие, что жена его, остававшаяся с детьми в Париже, сошла с ума. Бросив все хлопоты в Швейцарии, он поспешил в Париж, где поместил жену в больницу и в течение нескольких месяцев с тяжелым чувством ожидал ее выздоровления. Лишь после этого он возобновил старания о месте в Лозанне, и на этот раз они увенчались окончательным успехом; он был назначен в 1839 году экстраординарным профессором Лозаннской академии по кафедре римской литературы с обязательством читать две лекции в неделю в академии и четыре в гимназии с содержанием в 2700 франков.

Вместе с семьей он переселился теперь в Лозанну и ревностно отдался занятиям классической филологией, тем более необходимым для него, что с пребывания своего в университете он не занимался этою дисциплиной. По природе своей Мицкевич не только не был педагогом, но учительские занятия даже в юности были ему тягостны. Еще менее был он ученым, хотя и обладал довольно обширными знаниями в области литературы. Но, взявшись за педагогический труд, он хотел уже отнестись к нему добросовестно и почти все свое свободное время употреблял на чтение древних авторов и различных пособий. Естественно, оно не могло доставить ему теперь недостававшей учености, пополняя лишь отдельные пробелы в его сведениях, но, тем не менее, другие свойства его лекций – блестящее и оригинальное красноречие, богатое мыслями изложение, ясное понимание общего хода развития римской литературы и значение ее в литературе всеобщей – приобрели ему популярность среди слушателей академии.

Долго оставаться в Лозанне поэту, однако, не пришлось.

Вскоре другое дело, более для него близкое и важное, вызвало его опять в Париж…

Французское правительство задумало в 1840 году открыть в Collége de France кафедру славянских литератур, которую и думало поручить Мицкевичу. Друзья убеждали его принять это предложение, опасаясь, что в случае его отказа кафедра может достаться какому-нибудь немцу, может быть, врагу польской национальности. Некоторое время поэт колебался: ему, видимо, не хотелось опять очутиться в Париже, этом бурном политическом водовороте, а между тем швейцарское правительство, желая удержать Мицкевича, назначило его ординарным профессором с повышением жалованья до 3000 франков. Но, в конце концов, Мицкевич решил ехать в Париж и на официальное предложение французского министра Виктора Кузена занять кафедру в Colleée de France отвечал выражением своего согласия.

**Адам Мицкевич, Жюль Мишле, Эдгар Кине – профессора Коллеж де Франс.** ***Медальон М. Борреля. вмурованный в 1884 г. в стену зала, в котором читал лекции Мицкевич***.

Осенью 1840 года прибыл он в Париж и, промедлив около двух месяцев, которые употребил на приготовления к курсу, в декабре начал свои лекции. И эти лекции поэта, как и лозаннские, не могли блистать ученостью. Из всех славянских литератур он знал, за исключением польской, только русскую до 30-х годов да отчасти чешскую; с южнославянскими же литературами он совсем не был знаком и изучал их уже во время самого курса. Польская литература, конечно, заняла в его

изложении центральное место, относительно же других он высказывал лишь беглые замечания или придавал их явлениям ложное освещение. Но публика, посещавшая эти лекции и состоявшая преимущественно из французов и поляков, в громадном большинстве не обладала необходимыми знаниями, чтобы заметить эти недостатки, а ораторский талант Мицкевича действовал на нее притягательно. Французы по большей части остались довольны лекциями нового профессора, но опасность для него возникла с той стороны, откуда он ее совсем не ожидал – со стороны его соотечественников-эмигрантов. Занятые исключительно своим политическим положением, они не только ждали от Мицкевича, что он обратит свой курс на служение ему, но и искали в этом курсе указаний на то, к какой партии причисляет себя его автор. «Наши, – писал Мицкевич, – ходят на мой курс, но для того, чтобы узнать, какой я партии: аристократ или демократ? И сердятся, что я не говорю им о политике».

В это же время произошла вторая ссора Мицкевича со Словацким по следующему поводу. После первой лекции Мицкевича друзья устроили в честь него ужин, в числе участников которого находился и Словацкий. На этом ужине он выступил с импровизацией, в которой между прочим жаловался, что родина не отдает справедливости его таланту, признавая в то же время преимущество таланта Мицкевича. Последний, возбужденный впечатлениями дня, отвечал блестящей импровизацией, сильно подействовавшей на слушателей: в ней он признавал достоинства поэзии Словацкого, но указывал как на основной недостаток ее отсутствие христианской любви, без которой не может быть истинной поэзии. Через несколько дней после этой импровизации о ней начали ходить преувеличенные слухи, – говорили, будто Мицкевич отказал Словацкому в звании поэта. Когда же участники ужина решили в память его поднести Мицкевичу кубок и возложили эту обязанность на Словацкого, это стали истолковывать как бы признанием со стороны Словацкого своего вассальства по отношению к Мицкевичу. Когда эти слухи проникли в печать, а Мицкевич не делал ничего, чтобы опровергнуть их, гордость и оскорбленное самолюбие заговорили в Словацком: он прервал всякие связи с соперником и отомстил ему, прибавив несколько ядовитых стихов по его адресу к писавшейся тогда своей поэме «Беньовский». Среди таких натянутых отношений прошел первый год лекций Мицкевича в Collége de France, окончившихся, тем не менее, благополучно. Но прежде чем начался второй год их, в жизни профессора-поэта произошли события, окончательно завершившие собою издавна назревавший душевный перелом Мицкевича и заставившие *его* не

только обнаружить, но и усердно проповедовать те мистические воззрения, которые до сих пор составляли более или менее личное его дело. Таким событием явилось обращение поэта к учению секты, прозванной по имени основателя товянизмом.

Андрей Товянский сыграл такую видную роль в жизни не только одного Мицкевича, но и многих его современников, что на личности его стоит несколько остановиться. Уроженец Литвы, сын небогатых родителей, он окончил виленскую гимназию в 1815 году, но не мог продолжать образование из-за болезни глаз. Вынужденный таким образом к некоторого рода умственному бездействию, юноша стал предаваться тем отвлеченным размышлениям религиозно-мистического свойства, которые были тогда в таком ходу среди образованного и полуобразованного общества, и вскоре пристрастился к ним до такой степени, что они сделались для него необходимою потребностью. В мистицизме, поскольку он, конечно, не напускной, есть нечто, похожее на действие опиума. Раз поддавшись ему, вкусив таинственного плода, человек уже не находит в себе силы отказаться от него и идет все дальше по наклонной плоскости. Так было и с Товянским. Стремясь к достижению нравственного совершенства, он скоро во всех самых мельчайших фактах обыденной жизни стал искать указаний свыше, и ему казалось, что он действительно получал их. Сам он рассказывал о себе: «Не раз я целый день раздумывал, как должны быть сшиты сапоги, по нескольку часов проводил в молитве с целью узнать, как купить гвозди отцу на крышу, чтобы все это было *в правде*». Поступив затем на службу в суд, он и здесь при решении дел применял такой же способ. «Когда я был чиновником, – рассказывает он, – и затевалось какое-либо дело между крестьянином и евреем, я просиживал утро в костеле, и потом нужен был величайший труд, чтобы меня не сбили с результата, какой я наметил себе в молитве». При этом стремление к совершенству находило у Товянского практическое выражение и в другой сфере: получив по смерти отца небольшое имение, он заботился об улучшении быта своих крестьян и приобрел себе доверие и любовь не только их и крестьян соседних имений, но и евреев, привлеченных его справедливостью и уважением к их религии. Не одаренный от природы большой активной энергией, Товянский обладал, однако, значительной долей силы воли и терпения, убежденный в безнравственности держания прислуги, он приучил свою жену, вполне разделявшую его взгляды, делать все необходимое в доме, а во время ее болезни, не боясь насмешек сослуживцев, сам ходил на базар и готовил обед.

Таков был этот человек, когда ему пришла мысль, что он

предназначен небом в миссионеры нового учения, долженствующего преобразовать мир. Само это учение представлялось ему не вполне ясно. Проповедь личной нравственности, достигаемой посредством религиозно-мистических упражнений, занимала в нем первое место, – но к этому присоединялись и туманные предсказания относительно готовящегося политического и общественного преобразования, которое должно было, по мнению Товянского, довершить дело, начатое еще Наполеоном, причем этот последний выставлялся как образец высоты человеческого духа. Такое воззрение на Наполеона как на явление получудесное несомненно находилось в тесной связи со взглядом на него польского простого народа. Но, даже решаясь выступить с проповедью этого учения, Товянский не разрывал связи с католическою церковью и не переставал считать себя верным ее последователем. Но иных взглядов придерживались другие. Товянский, сознавая, что у него нет качеств, необходимых для проповедника нового учения, решился прежде всего склонить к нему какое-нибудь пользующееся авторитетом лицо, а затем уже через посредство его, как через нового Аарона, действовать на массу. С этой целью он обращался последовательно к архиепископу Познанскому Дунину и к генералу Скржинецкому; но и тот, и другой, хотя с уважением относились к нему как к человеку нравственному и религиозному, усмотрели, однако, в его учении и проповедуемой им миссии ересь и решительно отказались признать ее. Тогда Товянский решил направиться к Мицкевичу. Нужно заметить, что перед этим, бывая за границей, он познакомился в Дрездене с Одынцем и много слышал от него о поэте. Одынец рассказывал ему не только о настоящем Мицкевича, о его жизни и настроении, – но сообщал и многие подробности из его прошлого, относительно которых самому Мицкевичу неизвестно было, что Одынец знает их, так как последний слышал их не непосредственно от поэта, а от более близких его друзей. Вероятно, эти-то сведения и натолкнули Товянского на мысль обратиться к поэту, религиозное настроение которого подавало надежду на принятие им нового учения, а слава могла ручаться за успех пропаганды с его именем. Между тем именно в это время, летом 1841 года, Мицкевича вторично посетило раз уже испытанное им несчастье: жена его опять лишилась рассудка, и он должен был поместить ее в больницу. Этим случаем и воспользовался Товянский для своих целей.

В июле 1841 года он явился к Мицкевичу и, как бы впервые узнав здесь от него о болезни его жены, сообщил ему какое-то средство для ее излечения. Когда средство это подействовало и

Мицкевич привел выздоровевшую жену домой, Товянский объявил ему о своей миссии и при этом, в доказательство истинности своих слов, сообщил ему некоторые факты из его же собственной жизни, остававшиеся тайной самого поэта и его ближайших друзей. Факты эти могли быть ему известны от Одынца, но Мицкевич, конечно, этого не подозревал и уверовал в подлинность явившегося перед ним пророка. Эта вера не была, однако, результатом мгновенного аффекта. Поэт был прав до некоторой степени, когда впоследствии утверждал, что он предвидел и предчувствовал появление Товянского. Ум его и воображение доведены были до болезненного расстройства всеми несчастиями, личными и общественными, в таком изобилии падавшими на него; тоска по родине с течением времени принимала все более страстный характер, а чтение мистических сочинений придавало этим чувствам определенное направление, указывая для них выход в ожидании религиозно-нравственного переворота, который должен быть произведен в мире высшею силой.

В лице Товянского перед поэтом воплотился этот переворот, и представленные им доказательства могли иметь для Мицкевича значение лишь постольку, поскольку они подтверждали личность пророка, но не его учение. С другой стороны, именно это ожидание и предвидение нового учения само по себе должно было возбудить доверие к тому, кто являлся его провозвестником. Товянский нашел в Мицкевиче именно такого ученика и помощника, какого он искал, – глубоко и страстно уверовавшего в призвание своего учителя, в его миссию, готового проповедовать его учение со всем пылом своей натуры. Воображение поэта дополняло и дорисовывало туманные и неясные стороны этого учения, поскольку оно касалось общественной и политической жизни, и ему казалось, что давно ожидаемый им миг переворота уже наступил. Он писал письма к друзьям, бывшим вне Парижа, приглашая их приехать сюда, извещая их о появлении «необыкновенного мужа». Одного из своих приятелей он уговаривал даже вернуться из Америки, куда тот уехал, и уверял его, что слышанное уже им от Товянского так чудно, «что стоило бы съездить в Америку и вернуться из Америки, чтобы услыхать подобные вещи».

Не ограничиваясь одними увещаниями друзей и знакомых приступить к новому учению, Мицкевич вместе с Товянским задумал повести пропаганду в более широких размерах. С этою целью они несколько раз приглашали польских эмигрантов в парижские церкви, где после службы Мицкевич и сам Товянский обращались к собравшимся с проповедью нового учения и

приглашением признать его. Таким путем действительно удалось приобрести несколько сторонников, но вскоре нельзя уже было пользоваться им для пропаганды, так как по распоряжению Парижского архиепископа подобные проповеди в храмах были воспрещены. Пришлось на время отказаться от публичной пропаганды и ограничиться утверждением в учении тех, которые уже признали его. Этой цели служили еженедельные собрания под председательством сперва самого Товянского, а затем Мицкевича. Здесь излагалось и дополнялось учение, долженствовавшее преобразовать мир, и здесь оно, кажется, впервые приняло более определенную форму.

Согласно пониманию Товянского и его учеников, вселенная представлялась населенною множеством духов, злых и добрых, вечно борющихся между собою из-за власти над каждым отдельным человеком. Люди могут даже вступать в общение с этими духами как во сне, так и наяву при помощи видений, – но это непосредственное общение с невидимым миром может быть достигнуто только тем, кто уверовал в Товянского и живет согласно его учению. Задачей как отдельных людей, так и целых народов и всего человечества является реализация «слова Божьего», достижение христианского идеала, впервые поставленного и выполненного Христом, но не вошедшего еще в жизнь человечества. Вплоть до времени самого Товянского, по его мнению, были воспринимаемы лишь одни формы христианства, но не дух его. Реформация не только не оказала услуги истинному христианству, но еще унизила его, введя *разум* в религию, которая может быть постигаема одним чувством. Только с появлением Товянского, нового мессии, начинается в истории человечества вторая эпоха, посвященная действительному осуществлению христианства и проведению его в жизнь как частную, так и общественную. Но у этой эпохи был свой предвозвестник, и это был не кто иной, как Наполеон. Этот апофеоз Наполеона, перешедший в ученье Товянского из воззрения польского простонародья, как нельзя более пришелся по душе Мицкевичу, который, подобно многим полякам, относился к французскому императору с благоговейным почтением. Но Наполеон, по учению Товянского, не выполнил возложенного на него призвания и пал, так как вздумал бороться с Англией на поприще торговли, для которой французы уже слишком зрелы.

Нужно заметить, что, с точки зрения Товянского, вся современная ему цивилизация являлась порождением греха; поэтому и промышленность, и наука являлись занятиями, возможными лишь для тех народов, которые еще находятся в

периоде младенчества, еще не созрели для «Божьего дела», – но не для французов, поляков и евреев, трех народов, которых он выделял из всего человечества как избранных Богом. На них, главным образом, лежит обязанность начать новую эру в истории, и к ним и обращал Товянский свою проповедь. Принявшие ее должны были стремиться к душевной экзальтации, которая давала бы им, в свою очередь, возможность влиять на других и внушать им идеи Товянского. Это душевное состояние обозначалось у последователей Товянского словом *тон,* причем рвение к делу и сильная экзальтация обозначались как повышение *тона,* а проявление равнодушия – как его понижение. Средством же к достижению экзальтированного состояния служили частью молитва и пилигримство в считавшиеся священными места, частью чтение мистических сочинений.

Такое неясное и туманное учение, полагавшее всю деятельность человека в одном чувстве и отрицавшее все приобретения разума, не ставя в то же время ясно сознанной и вполне определенной цели, не могло приобрести себе большого числа сторонников, – и действительно, за несколько первых месяцев пропаганды количество последователей Товянского едва дошло до нескольких десятков человек. Большинство из них были люди необразованные, бывшие солдаты восстания, проживавшие в Париже без дела, в ожидании какого-нибудь переворота; они приняли проповедь Товянского главным образом потому, что в устах Мицкевича она обещала им близкий конец их страданий и независимость родины; поэт же, долгое время сторонившийся всех политических партий, считался человеком осторожным. Многие из них до такой степени уверовали в возможность скорого возврата на родину, что распродали все свое имущество и переселились в гостиницы. Не мудрено, что среди этих людей и увлечение новым учением, которое уже само в себе заключало много суеверия, приняло довольно грубые формы. Некоторые из них, правда, мало интересовались мистической стороною учения, но другие уверовали и в нее – и видения, чудесные сны, таинственные пророчества, никогда, впрочем, не оправдывавшиеся, сделались обычным явлением в их среде. Сам Мицкевич, все глубже уходя в мистицизм, рассказывал о снах и видениях, посещающих его, передавал, как он видел окружающих его злых духов, и, казалось, вполне выполнял требование Товянского – отречься от земного разума и решиться на «оглупение ради Христа».

В то же время он решился воспользоваться всеми средствами, какими мог располагать, для публичной пропаганды учения. Такими средствами являлись у него кафедра в Collége de France и

место председателя, которое он занимал в существовавшем тогда в Париже Польском историко-литературном обществе. И в том, и в другом месте поэт начал проповедовать идеи Товянского, причем, однако, на кафедре он был осторожнее. Лекции его изменили свой характер, – из очерка истории славянских литератур они мало-помалу обращались в чтения, посвященные исключительно вопросам общественным и религиозным, для которых литература служила только предлогом и прикрытием, но характера прямой проповеди еще не принимали. Профессор указывал на значение славянства среди европейских народов как племени, призванного развить далее идеи христианства, причем это призвание, главным образом, выпадало на долю Польши, которая в течение всей своей истории служила, по его словам, воплощением христианских начал и пала потому, что эти начала не могли быть примирены с окружавшими ее земными порядками. С этой точки зрения он рассматривал и литературу, и историю Польши, находя в них единственно истинное выражение христианства, подобно тому, как наши славянофилы находили его в истории русского народа. Мицкевич противопоставлял Россию Польше, видя в первой олицетворение холодного земного разума, стремящегося к мирским целям и достигающего их благодаря строгому расчету своих сил, тогда как во второй он усматривал только горячую веру, дающую возможность совершать великие дела с самыми ничтожными средствами, и готовность на самопожертвование во имя великих идей.

История вообще представляет собой такой богатый арсенал фактов, в котором можно набрать их в подтверждение самых неожиданных обобщений, если только не обращать внимания на факты противоположные и не обладать стремлением к беспристрастной истине. Но у Мицкевича в это время истина была уже готовая, данная ему не наукой, а вдохновением, которое ему казалось божественным, и поэтому он брал только такие факты, какие подходили под его взгляды. За этим историческим положением была у него еще и другая цель, по отношению к которой оно являлось только средством, – желание пробудить в своих слушателях доверие к безграничному энтузиазму и унизить перед ними рационализм, являвшийся самым главным врагом нового мистического учения. В лекциях этих проскальзывали и намеки на последнее, на ожидаемый умственный переворот, указывалось даже значение Наполеона как человека, подготовившего к нему мир; но в течение всего 1841/42 академического года профессор еще не решался выступить окончательно в роли проповедника. Лишь с началом следующего года лекций он, с согласия Товянского, получившего между тем

от французского правительства приказание выехать из Франции и переехавшего в Бельгию, стал говорить более решительно.

Теперь литература и ее представители совсем отступили в его лекциях на задний план, а первое место заняли нападения на материалистическое направление века, на несовершенства общественного строя и указание начал, долженствующих устранить их своим проникновением в жизнь. Проповедь товянизма делалась все резче и откровеннее и вела Мицкевича к разрыву *с* той католической церковью, в которой он еще недавно видел единственный путь к спасению. Польские ксёндзы усмотрели в учении Товянского ересь и пытались подействовать на Мицкевича увещаниями, а затем, когда это не удалось, стали нападать на товянизм и в церковных проповедях, и в печати. Поэт, глубоко убежденный в истинности провозглашаемого им учения, не испугался обвинения в ереси и отвечал на него упреками в бездействии, холодности к действительным нуждам человечества и лицемерии со стороны представителей официальной церкви. «Когда народ, – писал он в частном письме, – движется к гробу, потому что высший дух отваливает камень, вы спрашиваете у этого духа, имеет ли он патент на звание механика и форменное разрешение входа на кладбище». И в лекциях своих он начал резко и страстно обвинять официальную церковь в том, что она не заботится о действительном проведении в жизнь христианских начал. Вместе с тем, продолжая в течение этого и следующего года изложение своих религиозных и общественных взглядов, он указывал идеал жизни в быте славянских народов, где сохранилось и свежее религиозное чувство, и глубокое сознание необходимости большей правды в экономическом строе, причем последнее он усматривал в существовании общинного землевладения. Наконец, достаточно уже, как ему казалось, подготовить умы слушателей к воспринятою нового учения. На одной из мартовских лекций 1844 года он заявил, что представитель и виновник новой эпохи в жизни человечества появился уже на земле, и пригласил слушателей засвидетельствовать, что они знают его. Присутствовавшие «товянчики» отвечали восклицаниями – и так состоялось публичное «провозглашение учителя и дела». С этого времени Мицкевич уже вполне посвятил свои лекции открытой проповеди товянизма, которой, однако, не суждено было долго продолжаться. Когда профессор начал приглашать с кафедры своих слушателей к духовному общению с духом Наполеона и раздавать портреты последнего, министр просвещения Вилльмен попросил его отказаться от подобных манифестаций и после последовавшего отказа предложил ему подать просьбу об

отставке или, по крайней мере, о продолжительном отпуске. Мицкевич выбрал последнее, – ему был дан шестимесячный отпуск, а заместителем его на кафедре назначен был французский литератор Киприан Роберт. Еще ранее поэт должен был отказаться от места председателя Историко-литературного общества, так как члены последнего находили неуместною его деятельность по распространению товянизма.

# Глава VI. Последние годы

***Внутренние раздоры в секте «товянчиков». – План Мицкевича привлечь на сторону товянизма императора Николая I. – Разрыв Мицкевича с его «учителем». – Революция 1848 года и несбывшиеся надежды поэта-мистика. – «Развалина». – Недостаток материальных средств. – Смерть жены. – Организация польских легионов в Турции. – Кончина поэта в Константинополе.***

Таким образом, Мицкевич увидел теперь закрытыми для себя те пути, которыми он думал воспользоваться для пропаганды идей «учителя», и в то же время видел, что пропаганда эта не принесла особенно осязательных плодов. Действительно, число «товянчиков», как их называли, не превышало и теперь нескольких десятков человек, а единственною крупною личностью среди новообращенных был другой польский поэт, Словацкий, искавший в мистицизме примирения с неудачною жизнью. Между тем на личной жизни Мицкевича увлечение его товянизмом отозвалось самым печальным образом: ему не только пришлось выносить нападение со стороны католического духовенства за свои еретические идеи, но последние произвели разрыв даже между ним и ближайшими его друзьями. Он испытывал теперь чувство нравственного одиночества среди людей, чуждых ему по своему развитию и стоявших значительно ниже его в умственном отношении, – людей, с которыми связывало его только одно мистическое учение. Правда, это последнее в минуты восторженного энтузиазма вознаграждало его за все вынесенные страдания, – но такие минуты приходили теперь все реже, так как неудачи последнего времени, отняв способы к продолжению пропаганды в широких размерах, вынудили Мицкевича ограничить свою деятельность тесным кружком «товянчиков». В самом этом кружке, или «коле», начался тем временем раздор: те из эмигрантов, которые были увлечены в секту не мистической собственно стороной учения, а теми обещаниями скорого политического переворота, какие щедро сыпались Товянским и вслед за ним с полною верою повторялись Мицкевичем, увидели теперь, что их ожидания не сбылись, и, чем пламеннее и нетерпеливее были их надежды, тем с большим негодованием относились они теперь к Товянскому и Мицкевичу, как обманщикам и шарлатанам. Вера поэта не была поколеблена долгим напрасным ожиданием, – но он не мог не чувствовать на себе ответственности за людей, привлеченных им к «делу» и пострадавших благодаря доверию к нему, а это еще более

ухудшало и без того уже мрачное его настроение.

Ко всему этому присоединилось и то обстоятельство, что среди «товянчиков», оставшихся верными учению, также нашлись лица, недовольные поэтом и видевшие в его неудачных действиях причину незначительных успехов пропаганды; сам «учитель», после того, как надежды, возлагавшиеся им на Мицкевича, оправдались далеко не в полной мере, выражал неудовольствие, несмотря на то, что именно в Мицкевиче он нашел человека, не только всею душой преданного его идеям, но и лично ему, оказывавшего значительные услуги и не раз помогавшего «учителю» материально, хотя средства поэта в то время были также далеко не блестящи. В среде сектантов готовилось несогласие, которому нужен был лишь удобный случай, чтобы выступить явно.

Случай этот представился в тех новых попытках, которые сделаны были Мицкевичем для пропаганды учения. Он старался сперва склонить к признанию товянизма человека, наиболее выделявшегося среди тогдашней польской эмиграции, князя Чарторыйского, но, потерпев в этом решительную неудачу, направил свои усилия в другую сторону, а именно – на банкира Ротшильда. Среди «товянчиков» было уже несколько евреев, и им поручено было постараться привлечь к делу знаменитого банкира и убедить его обратить свои капиталы на службу святому делу; некоторое время Мицкевич и его единомышленники льстили даже себя надеждою на успех этой миссии, – но вскоре их иллюзии распались, так как и Ротшильд не обнаружил желания примкнуть к ним. Тогда среди них зародилась новая мысль, принадлежавшая самому «учителю», – обратиться с письмом к императору Николаю, изложить ему взгляды Товянского на назначение славянства и предложить провести их в жизнь, за что ему обещалась великая будущность и любовь подданных, убеждая товарищей в необходимости этого шага, Мицкевич доказал, что «прежним духом ненависти» нельзя подействовать на Россию, что нужно изменить тактику по отношению к ней, проникнуться братской любовью к русским; но увещания не подействовали, и план этот вызвал в среде «товянчиков» раскол. Часть их, со Словацким во главе, отделилась от главного кружка и составила самостоятельное целое.

В свою очередь Товянский, приписывая Мицкевичу вину новых неудач, решил, не отнимая у него главного руководства кружком, поставить, однако, рядом с ним как бы для придания большей энергии другого человека. Этим последним был Карл Ружицкий, получивший от Товянского титул «Вождя Земли», тогда как за Мицкевичем сохранено было еще раньше данное ему

звание «Вождя Слова». Это новое назначение нимало не подвинуло вперед дела пропаганды и только усилило существовавшие уже раздоры, в которых все яснее стала сказываться неодинаковость настроения различных групп «товянчиков». Тогда как сам «учитель», видя, что осуществление обеих целей, которые были заложены первоначально в его учении (достижение нравственного совершенства посредством мистических упражнений и переустройство общественного и политического порядка), не дается сразу, остановился, как человек, по природе более склонный к созерцанию, чем к действию, только на первой из них и стал даже прямо отвергать вторую, – а для Мицкевича, наоборот, она-то и имела первенствующее значение. Мистические упражнения имели для него цену, главным образом, постольку, поскольку он верил, что они приближают его к этой важнейшей цели; сами же по себе взятые, они уже тяготили его.

Разлад между двумя главарями секты становился все заметнее и наконец с полною силою выразился в письме Мицкевича к Товянскому от 12 мая 1847 года. Письмо это чрезвычайно характерно; как потому, что рисует внутренние отношения общины «товянчиков», так и потому, что в нем проявляется взгляд самого Мицкевича на эти отношения, когда он нашел время и возможность взглянуть на них критически.

«Мы, – писал он, – трепет душ выставляли на вид как украшение нашей праздности; мы передавали этот трепет один другому как бы какой-нибудь мертвый инвентарь, перегоняемый из одних рук в другие. Мы приказывали братьям радоваться или страдать, любить или ненавидеть, часто сами не имея в себе того чувства горести или радости, к которому призывали. Множество приказывающих умножало призывы, часто противоречивые, а на каждый приказывалось отвечать. Мы, призывающие, сами чувствуя недостаток веры, пустоту и мучения, будучи не в состоянии вынести одиночества, которое, ставя нас наедине с самими собою, показывало нам наше ничтожество, нападали на братьев, причиняли им страдания, чтобы трагически развлекаться видом их мучений. Дошло до того, что призывающие стали похожи на слабеющих тиранов, которые находят тепло только в кровавой ванне. Ванну брали из братнего духа! Чем менее чувствовали мы в себе свободы, силы и жизни, тем сильнее кричали о жизни. Мы устраивали жизнь искусственную: приказывали братьям делать упражнения, часто несогласные с их внутренним состоянием, отнимали у братьев даже последнюю свободу, уважаемую всякими тираниями, свободу молчания… Так как Бог не давал нам такой милости, чтобы один наш дух, одно

лицо наше призывало ближних к соединению, к поднятию духа и заставляло уважать нас, то мы хотели наш физический недостаток заменить гневом и криком, а кого не могли испугать, того за глаза оглашали изменником и бунтовщиком. Всякий, кто в чем-либо и когда-либо не соглашался с нами, или, скорее, не был нашим эхом, объявлялся бунтовщиком. Мы вводили самую печальную, какая только есть на земле, власть, какую в нашей стране имеют экономки, экономы, дворовые и гости-паничи над холопами, власть самую печальную, так как она знает только доносы и наказания, так как там нет жалобы и защиты, выслушивания суда и приговора, власть, которую Провидение устраняет уже и из славянских земель…»

После этого письма прежние дружеские отношения Мицкевича с Товянским прервались, так как «учитель» не мог простить этих горьких упреков своему прежде такому покорному ученику. Не отступаясь от товянизма, Мицкевич служил, однако, теперь ему, как сам понимал его, выдвигая на первый план политическое и общественное преобразование жизни народов; Товянский же жил в Швейцарии почти в уединении, всецело предаваясь мистическому созерцанию и изредка пытаясь завлечь кого-либо в свою секту. Даже переписка между ними на время прервалась, и хотя позднее она опять возобновилась, но не привела к прежней близости. Тем временем наступал 1848 год, такой богатый событиями и возбудивший столько надежд во всех, кто, не довольствуясь старыми порядками, стремился к их реформе. При первом же известии о движении в Италии и о либеральных преобразованиях нового папы, Пия IX, Мицкевич поспешил в Рим. Он рассчитывал убедить папу признать учение Товянского и встать во главе общеевропейского движения, которое должно было провести это учение в жизнь. Такой план тем более подходил поэту, что он и теперь не хотел разрывать связи с католическою церковью и свои нападения на нее понимал лишь как необходимое указание того ложного пути, на который вступили некоторые отдельные ее члены. Но и в Риме значительная часть духовенства смотрела на него как на еретика, а сам папа был слишком осторожен, чтобы увлечься его широкими планами социальной и политической реформы. Потерпев неудачу в этом отношении, Мицкевич ухватился за другую мысль – образовать из польских эмигрантов легионы, которые примкнули бы к итальянцам в готовившейся борьбе с Австрией. В Риме, с помощью богатого аристократа Браницкого, он собрал несколько охотников и довел их до Милана. Здесь удалось организовать более значительный польский отряд, вступивший на службу к Карлу Альберту, а сам Мицкевич

отправился обратно в Париж, чтобы продолжать дело набора, но, прежде чем новые охотники могли прибыть к Карлу Альберту, последний уже вынужден был заключить перемирие с Австрией; таким образом, и эта надежда – доставить польской эмиграции деятельную роль в европейских событиях и с помощью ее провести свои излюбленные идеи – обманула Мицкевича.

Новое поприще для деятельности открыла ему февральская революция в Париже. Когда президентом республики сделался Луи Наполеон, поэт ждал от него, что он явится воплотителем наполеоновской идеи, как понимали ее «товянчики», и надеялся непосредственно действовать на него в духе своего учения. Надежды эти поддерживались и личным знакомством с некоторыми из членов семьи президента, – но вскоре Мицкевичу пришлось увидеть, что Наполеон вовсе не думает об обращении к Товянскому и его последователям за советами в деле государственного управления. Тогда поэт решился на проповедь своих идей более широкой массе и с этой целью, опять при помощи Браницкого, основал в Париже газету под названием «Трибуна народов» (La tribune des peuples). Газета эта, в которой религиозно-мистические идеи смешались с проповедью народного суверенитета и социализма, не приобрела ни влияния, ни значительного числа подписчиков и, просуществовав едва с полгода, была закрыта.

Так мало-помалу рушились все надежды Мицкевича на скорое осуществление в жизни идей Товянского, и исчезла для него всякая возможность работать для их распространения на поприще общественной жизни. Теперь он снова, как несколько лет назад, при первом своем поселении в Париже, замкнулся в семье и маленьком кружке знакомых, – но на этот раз таким кружком служили для него исключительно «товянчики». Испытанные неудачи не разрушили веры Мицкевича в это учение и только заставили его еще более уйти в мистицизм, сделаться настоящим фанатиком своей идеи. Тот человек, который некогда поражал знакомившихся с ним обширностью своих знаний, своим ясным взглядом на вещи и широкими обобщениями, теперь производил совершенно обратное впечатление. Заимствуем у польского биографа Мицкевича, Хмелевского, описание посещения Мицкевича одним из его земляков, составленное в 1849 году и ярко рисующее это впечатление: «Через узкую и тесную кухню и длинную комнатку, заваленную постелями старших и младших, входишь в несколько большую гостиную, которая почти никогда не бывает пуста. Всегда можно застать в ней нескольких собравшихся мужчин. Старые и молодые, с сильно закоптевшими лицами, неизвестно почему оставшимися

такими в течение двадцати с лишком лет, с длинными усами и густыми бородами, стоят по сторонам с выражением глубокого смирения и уважения. Эти грубые лица и скромно опущенные глаза, вместе взятые, представляют что-то монастырское, как будто смотришь на тех наших старых монахов, которые, часто навоевавшись в течение полужизни, меняли оружие на молитвенник, но не могли, однако, выражением монашеского послушания маскировать свои марсовы обличил. Все гости этой гостиной смотрят и слушают как пророка человека, который быстрыми и неровными шагами бегает по комнате, держит в зубах короткую трубку и, пуская из нее клубы дыма, все время говорит резким голосом. Если он сядет на минуту, садятся и слушающие гости; когда он встанет, и они встают… Одни из его товарищей называют его отцом Адамом, другие – братом Адамом. Первые целуют ему руку, вторые – плечо. Почему, напрасно спрашивать; ни он, ни его товарищи ничего не ответят, сведут речь на другой предмет и, наконец, рассердятся. Вновь прибывший смотрит в лицо говорящего… развалина! Голова статуи на худом и небольшом теле с зачесанными назад волосами, в которых уже сильно проглядывает седина. Но эти неправильные морщинки, изменяющиеся почти каждую минуту, искривление рта, приобретенное благодаря частому говорению, неуверенный взгляд глаз, как будто время стерло их прежний цвет, – все это вместе невольно пробуждает мысль о разбитой статуе, искалеченной капризной рукой случая, разрушительным зубом времени… Он слушает говорящего… Увы! Развалина… Сожаление стесняет сердце, слезы наполняют глаза… Когда посещает его кто-нибудь вновь приехавший с родины, весь разговор его состоит главным образом из двух частей: из бесплодных вопросов и еще более бесплодных жалоб. Вопросы могли бы только доказывать любопытство человека, стосковавшегося по родине, которого занимает все родное. Но есть вопросы и вопросы! Он в своих вопросах никогда почти не касается стороны интеллектуальной, но скорее постоянно вертится около стороны пластической. Невольно может прийти на мысль, что это спрашивает не поэт, не ученый профессор, не вдохновенный историк, – но жанровый живописец, нуждающийся в пополнении своих сведений о костюмах. И это не потому, чтобы интеллектуальная сторона не интересовала его, – но потому, что, по его мнению, вся интеллектуальная сторона всего народа вконец испорчена, и это не только на родине, но и у них самих, в эмиграции. Отсюда бесконечные жалобы, высказывающиеся разными словами и различными голосами, но своею монотонностью напоминающие причитания старых женщин,

жалобы на ветреность, легкомыслие, недостаток обдуманности, опрометчивость, непостоянство… Считая все таким плохим и испорченным, он никогда ни одним словом не коснется способа помочь злу. Настойчиво допрашиваемый об этом, он смотрит только иногда, и то украдкой, на окружающих и на картину, висящую между окнами (портрет Наполеона). Это – таинственное „коло“, в котором вращаются его мысли…»

**Адам Мицкевич.** ***Литография по рисунку Т.Малешевского***.

Семейная жизнь также не была особенно радостной для поэта: средства его были крайне невелики, так как, хотя он и считался еще номинально профессором Collége de France, но получал не все жалованье, а лишь 3000 франков, остальные же две тысячи шли его заместителю. Приходилось искать какой-либо работы ради хлеба, и поиски часто были неудачны. Так, один книгопродавец заказал было ему популярную историю Полыни на французском языке, но потом отказался от представленной работы, найдя ее слишком большою. Положение грозило еще ухудшиться, когда в 1852 году – уже после государственного переворота – французское правительство окончательно лишило его кафедры, а вместе с тем и жалованья. Мицкевич подал просьбу министру народного просвещения, указывая, что

причиной прекращения его лекций было не что иное, как предсказание возвращения Бонапартов к власти во Франции, и добился некоторого результата. Кафедры ему, положим, не возвратили, но дали место библиотекаря в арсенале с жалованьем в 2000 франков и квартирой. Пришлось довольствоваться, однако, и этим, и Мицкевич занял свое новое место, на котором оставался вплоть до 1855 года. В этом году умерла его жена, и, частью для того, чтобы рассеять скорбь от этой потери, частью надеясь принести пользу своим землякам, Мицкевич ухватился за мысль организации польских легионов в Турции.

**Возвращение с охоты. Адам Мицкевич и Садик-паша (Михаил Чайковский) в лагара «оттоманских казаков» под Бургасом в сентябре 1855.** ***Гравюра П. Суходольского***.

Ему казалось, что наступило опять время для деятельности, и Товянский, с которым он возобновил еще в 1853 году прерванную было перед этим переписку, укреплял его в этом мнении. Итак,

выхлопотав себе у французского правительства поручение, касавшееся образования польских легионов, он отправился в Константинополь. Недолго, однако, ему пришлось пробыть в этом городе: прожив здесь около двух месяцев, причем все это время было посвящено хлопотам по устройству польских легионов, он опасно заболел и 28 ноября 1855 года скончался, почти 58 лет от роду.

**Адам Мицкевич.** ***Фотография. Швейцария. 1853***

Тело его было перевезено в Париж и похоронено на кладбище Монморанси; лишь в 1890 году оно было перенесено на польскую землю – в Краков.

Так закончилась эта жизнь великого поэта, заключавшая в

себе немало странного и еще больше мрачного, жизнь, в течение которой на его долю выпало гораздо больше горя и разочарования, чем радостей. Его увлечение мистицизмом, вытекавшее как из личных особенностей его натуры, так и изо всей общественной обстановки, в которой он вырос и действовал, наложило мрачную тень на всю вторую половину его жизни, особенно тяжелую и страдальческую, очевидно, для него самого. С мистическим направлением у него связывались, однако, широкие общественные идеалы. Невозможность примирения этих начал теперь очевидна сама собою; она ясно сказалась, между прочим, и в судьбе самого польского поэта, и проповедовавшегося им учения, вместе с ним сошедшего в могилу. Но, зная это, мы должны для правильной оценки этого увлечения, помимо всех личных обстоятельств жизни Мицкевича, помнить и то, что мысль о решении всех запросов, представляющихся жизнью человечества, путем нравственно-религиозного экстаза, переходящего в мистицизм, издавна имела широкое распространение и почти на наших глазах обольщала весьма сильные умы. Как бы то ни было, эти личные заблуждения Мицкевича исчезли бесследно, – но живет другая сторона его деятельности, равным образом неразрывно связанная с его личностью, – его поэзия, впервые давшая польской литературе общеевропейское значение.

**Бронзовый медальон, отлитый к столетию со дня рождения Адама Мицкевича и к открытию памятника поэту в Варшаве. 1898.**